

A person's head is seen floating in the ocean, with only their eyes and nose visible above the water. The sky above is a deep blue, filled with numerous white circles of varying sizes, resembling stars or a constellation. The overall mood is serene and contemplative.

18+

БУМАЖНЫЙ ДВОРЕЦ

NEW YORK TIMES BESTSELLER

МИРАНДА
КОУЛИ ХЕЛЛЕР

Время женщин

Миранда Коули Хеллер

Бумажный дворец

«Издательство АСТ»

2021

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

Коули Хеллер М.

Бумажный дворец / М. Коули Хеллер — «Издательство АСТ»,
2021 — (Время женщин)

ISBN 978-5-17-145821-8

Семейная трагедия, история несбывшейся любви и исповедь об утраченной юности и надеждах. Словно потерянный рай, Бумажный дворец пленит, не оставляя в покое. Бумажный дворец — место, которое помнит все ее секреты. Здесь она когда-то познала счастье. И здесь, она утратила его навсегда. Элла возвращается туда снова и снова, ведь близ этих прудов и тенистых троп она потеряла то, что, казалось, уже не вернуть. Но один день изменит все. Привычная жизнь рухнет, а на смену ей придет неизвестность — пугающая и манящая, обещающая жизнь, которую она так долго не решалась прожить...
Осталось сделать только один шаг навстречу.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-17-145821-8

© Коули Хеллер М., 2021

© Издательство АСТ, 2021

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Книга первая | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 12 |
| 3 | 18 |
| 4 | 23 |
| 6 | 37 |
| 7 | 40 |
| 8 | 46 |
| 9 | 50 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 52 |

Миранда Коули Хеллер

Бумажный дворец

*Посвящается Лукасу и Феликсу, моим самым любимым
И моей бабушке, Мюриэль Маурер Коули, чья любовь всегда была
неизменна*

*Жизнь мы полной чашей
Пьем, пока – весна,
Но в улыбке нашей
Искра слез видна,
Те песни любим мы, в которых грусть слышна.*

Перси Шелли, «К жаворонку»¹

¹ Здесь и далее в переводе К. Д. Бальмонта.

Книга первая Элла

1

Сегодня. 1 августа, Бэквуд

06:30

Картинка появляется откуда ни возьмись. Поначалу в голове пусто, а потом перед глазами вспыхивает груша. Идеально зеленая, с листочком на торчащем черенке. Она лежит среди лаймов в керамической вазе для фруктов, в центре выдавшего виды садового стола на старой веранде у пруда, прячущегося в лесу на морском побережье. Рядом с вазой латунный подсвечник, покрытый застывшим воском и пылью, вьвшейся за долгую зиму, когда он стоял на открытой полке. Тарелки с недоеденной пастой, нетронутые льняные салфетки, остатки кларета на дне бутылки, доска с грубым домашним хлебом, который не резали, а рвали руками. На столе открыт заплесневевший от сырости томик стихов. Глядя на натюрморт вчерашнего ужина, я вспоминаю, как воспаряла в небеса ода «К жаворонку» – волнующая, болезненная.

– Мне б целый мир внимал, как внемлю я тебе, – так красиво декламировал он. – Посвящается Анне.

И мы все сидели, замороженные, вспоминая ее. Я могла бы вечно смотреть лишь на него и быть счастливой. Слушать с закрытыми глазами, чувствуя, как меня раз за разом омывают его слова и дыхание. Это все, чего я хочу.

Стол окружен полумраком, но за противомоскитными сетками, над пятнистыми деревьями, уже светло, пруд голубеет, а у кромки воды лежат отбрасываемые ниссами густые тени, и лучи солнца не могут разогнать их в этот ранний час. Я разглядываю чашку с оставшимся глотком густого холодного эспрессо, раздумывая, стоит ли его выпить. Воздух свеж. Я ежусь под блеклым лавандовым халатом – маминым, – который надеваю каждое лето, когда мы приезжаем сюда. Халат пахнет мамой и мышинным пометом зимней спячки. Это мое любимое время дня в Бэквуде. Раннее утро у пруда, пока все еще спят. Яркий солнечный свет режет глаза, вода бодрит, козодои наконец-то смолкли.

Между досками крылечка за дверью веранды забился песок – нужно подмести. Метла стоит, прислонившись к сетке, вминаясь в нее, но я, не обращая внимания, иду по тропинке к нашему маленькому пляжу. Дверные петли протестующе взвизгивают у меня за спиной.

Я сбрасываю халат на землю и встаю у края воды, обнаженная. За стеной из сосен и кустов на том берегу пруда яростно ревет океан. Наверное, несет в брюхе шторм откуда-то из открытых вод. Но здесь, у пруда, воздух вязкий, как мед. Я жду, приглядываюсь, прислушиваюсь... к жужжанию крохотных насекомых, к ветру, слишком мягко колышущему деревья. Потом захожу по колено и бросаюсь в ледяную воду. Заплываю на глубину, мимо кувшинок, подгоняемая возбуждением, ощущением свободы и выплеском адреналина, вызванным безотчетной паникой. Чувствую смутный страх, будто из глубины сейчас выплывут кусачие черепахи, чтобы цапнуть меня за тяжелые груди. Или, может, их привлечет запах секса, исходящий, когда я раздвигаю и смыкаю ноги. Внезапно меня охватывает желание вернуться на безопасное мелководье, где видно песчаное дно. Хотелось бы мне быть смелее. Но в то же время мне

нравится страх, то, как перехватывает дыхание, как колотится сердце в груди, когда я выхожу на берег.

Как могу, я выжимаю воду из длинных волос, потом сдергиваю потрепанное полотенце с веревки, которую мама повесила между двух чахлых сосен, и ложусь на песок. На сосок мне опускается ярко-синяя стрекоза и сидит там, прежде чем полететь дальше. Муравей переползает через песчаные дюны, которые мое тело только что оставило у него на пути.

Вчера вечером я наконец-то переспала с ним. После всех этих лет, которые я провела, воображая, как это будет, не зная, по-прежнему ли он меня хочет. Но в тот момент я поняла, что это случится: вино, прекрасный голос Джонаса, декламирующего оду, мой муж Питер, одурманенный граппой, лежит на диване, все трое моих детей ушли спать к себе в домик, мама уже у раковины, моет посуду в ярко-желтых резиновых перчатках, не обращая внимания на своих гостей. Наши взгляды встретились и на долю секунды задержались друг на друге. Я встала из-за шумного стола, сняла в кладовке трусы и спрятала их за хлебницей. Потом вышла в ночь через кухонную дверь. Стала ждать в тени, прислушиваясь к звону тарелок, бокалов и столового серебра в мыльной воде. Я ждала. Надеялась. А потом появился он, прижал меня к стене дома, задирая платье.

– Я люблю тебя, – прошептал он. Я судорожно вздохнула, когда он протиснулся внутрь меня. И подумала: обратной дороги нет. Я больше не буду жалеть о том, чего не сделала. А лишь о том, что сделала. Я люблю его и ненавижу себя, люблю себя и ненавижу его. Это конец длинной истории.

1966 год. Декабрь, Нью-Йорк

Я истошно ору. Задыхаюсь от ора, пока мама наконец не догадывается, что что-то не так. Она тащит меня к доктору и воображает себя мисс Клавель², пока бежит по Парк-авеню, в ужасе прижимая к себе свою трехмесячную малышку. Отец тоже бежит – по Мэдисон-авеню, от небоскреба Фред-Ф.-Френч-билдинг, с портфелем в руке. В голове у него все путается от страха перед собственным бессилием, как и всегда, за что бы он ни взялся. Доктор говорит, что времени нет – если медлить, ребенок умрет, – и вырывает меня из рук матери. Разрезает мне живот на операционном столе, как спелую дыню. Опухоль сдавила мне кишки железной хваткой, и яд от скопившегося говна расплзается по крошечному тельцу. Говно всегда копится, и нужно уметь его выдержать, но об этом я узнаю только спустя много лет.

Добравшись до моих внутренностей, доктор грубо вырезает яичник, торопясь отделить смерть от жизни. Об этом я тоже узнаю только спустя много лет. Когда это случится, мама заплачет во второй раз. «Прости меня, – скажет она. – Я должна была проследить, чтобы он был осторожнее...» – словно в ее власти было изменить мою судьбу, но она не стала.

Потом я, туго запеленатая, с прижатыми к телу руками, лежу в больничной палате. Громко реву, живая, преисполненная негодования от такой несправедливости. Маме не разрешают меня кормить. У нее высыхает молоко. Проходит почти неделя, прежде чем мои руки освобождаются от оков. «Ты всегда была такой жизнерадостной малышкой», – произносит отец. «А после этого, – говорит мать, – ты не прекращала орать».

07:30

Я переворачиваюсь на живот и кладу голову на руки. Мне нравится солоновато-сладкий запах, исходящий от моей кожи, когда я лежу на солнце – мускусный золотисто-ореховый аромат, словно свидетельствующий, что я исцеляюсь. С тропинки, ведущей от главного дома к

² Персонаж детской книги «Мадлен» Людвиг Бемельманса.

спальным домикам, доносится тихое хлопанье двери. Кто-то проснулся. Сухие листья шуршат под ногами. Из душевой кабинки слышится шум воды. Трубы стонут, приветствуя новый день. Вздохнув, я подбираю с песка халат и возвращаюсь к дому.

Наша дача состоит из главного строения – «большого дома» – и четырех односпальных домиков вдоль усыпанной хвоей тропы, что огибает берег пруда. Маленькие, обшитые досками, у каждого дома – двускатная крыша для защиты от снега, слуховое окошко и большие окна, идущие от одного края стены до другого, по обеим сторонам. Старомодно, по-деревенски, безо всяких рюшечек. Таким и должен быть дачный домик в Новой Англии. Полоса из кустов и маленьких деревьев между тропой и прудом – лавр, цветущая клетра и дикая черника – защищает нас от любопытных взглядов рыбаков и чересчур энергичных отдыхающих, которым удастся доплыть до нашего берега от общественного пляжа на противоположной стороне. Им не разрешено выходить на берег, но иногда они бродят по мелководью в полуметре от него, прямо перед нашим заслоном из кустарника, не подозревая, что вторгаются в чужую жизнь.

По другой тропе, за домиками, можно попасть в старую баню. Облетающая краска, ржавая эмалированная раковина, покрытая белесыми трупиками мотыльков, слетевшихся ночью на свет лампочки, допотопная ванна на ножках еще с тех времен, когда дедушка построил эту дачу, душевая кабинка на улице – трубы с горячей и холодной водой закреплены на ниссе, вода льется прямо на землю и ручейками бежит по песку.

В большом доме, построенном из шлакоблока и рубероида, всего одна комната – гостиная, она же кухня, с отдельной кладовкой. Дощатый пол, тяжелые балки, массивный каменный камин. В дождливые дни мы сидим здесь, закрыв все окна и двери, слушаем, как трещит огонь, и заставляем себя играть в «Монополию». Но место, где на самом деле проходит наша жизнь – где мы едим, читаем, ссоримся и вместе стареем, – это веранда шириной с сам дом, с видом на пруд. Наша дача не приспособлена для зимы. Нет смысла это делать. В конце сентября, когда начинаются первые заморозки и летние домики закрываются до следующего года, Бэквуд становится одиноким местом – все еще красивым в холодном свете, но суровым и мрачным. Никто не хочет быть здесь после того, как опадут листья. Но когда снова приходит лето, когда лес зеленеет и голубые цапли возвращаются в свои гнезда, чтобы бродить по сверкающему пруду, на земле нет места лучше.

Едва я захожу обратно на веранду, как на меня накатывает волна ностальгии, пробежавшей по моему солнечному сплетению, словно ртуть. Я знаю, что должна убрать со стола, пока остальные не пришли завтракать, но мне хочется сохранить его в памяти – воссоздать вчерашний вечер крошка за крошкой, тарелка за тарелкой, выжечь его образ кислотой в голове. Я провожу пальцами по фиолетовому пятну от вина на белой льняной скатерти, подношу бокал Джонаса к губам в попытке ощутить его вкус. Закрыв глаза, вспоминаю, как он прижался бедром к моему бедру под столом. Еще до того, как я обрела уверенность, что он меня хочет. И я, затаив дыхание, гадала, случайное это прикосновение или намеренное.

В основной комнате все как всегда: висящие над плитой кастрюли, кухонные лопатки на крючках для кружек, банка с деревянными ложками, выцветший список телефонных номеров, припиленный к книжной полке, два кресла у камина. Ничего не изменилось, однако когда я иду через кухню в кладовку, мне кажется, будто я очутилась в другой комнате, она приобрела более отчетливые очертания, словно сам воздух пробудился от глубокого сна. Я захожу в кладовку и смотрю на стену из шлакоблоков. На ней никаких следов случившегося. Но это произошло здесь, здесь мы навеки впечатались друг в друга. Молча, мучительно, отчаянно. Внезапно я вспоминаю, что мои трусы так и лежат за хлебницей, и успеваю натянуть их под халатом как раз перед тем, как появляется мама.

– Что-то ты сегодня рано, Элла. Кофе готов? – В ее голосе звучит осуждение.

– Как раз собиралась сварить.

– Только не слишком крепкий. Мне не нравится этот твой эспрессо. Знаю, тебе кажется, что так лучше... – говорит она тем притворно уступчивым тоном, который сводит меня с ума.

– Хорошо. – Мне сегодня не хочется спорить.

Мама усаживается на диван на веранде. Всего лишь жесткий матрас из конского волоса под старым серым покрывалом, но при этом любимое место всех в доме. Здесь можно пить кофе, глядя на пруд, и читать, откинувшись на потрепанные подушки, чьи хлопковые чехлы все в пятнышках ржавчины. Кто знал, что даже ткань может заржаветь со временем?

Вполне в мамином духе – занять лучшее место.

Ее золотистые волосы, теперь подернутые сединой, скручены в небрежный узел. Старая ситцевая ночнушка истрепалась по краям. Однако она все еще ухитряется выглядеть величаво, как фигура на носу новоанглийской шхуны XVIII века, строгая и прекрасная, в жемчугах и лавровом венке, указывающая путь.

– Я только выпью кофе, а потом уберу со стола, – говорю я.

– Если ты уберешь со стола, то я домою посуду. М-м-м, спасибо, – отвечает она, когда я протягиваю ей кружку. – Как водичка?

– Холодная. Идеально.

Лучший урок, который я получила от матери, таков: в жизни нельзя жалеть о двух вещах – о ребенке и купании. Даже в самый холодный день начала июня, когда я стою перед солеными волнами Атлантического океана, с неприязнью глядя на тюленей, которые высовывают свои уродливые бесформенные головы и привлекают сюда белых акул, в моей голове звучит ее голос, побуждающий броситься в воду.

– Надеюсь, ты повесила полотенце на веревку. Не хочу сегодня снова увидеть кучу мокрых полотенец. Скажи это детям.

– Оно на веревке.

– Потому что, если ты не накричишь на них, это сделаю я.

– Хорошо.

– И пусть подметут свой домик. Там настоящий свинарник. И не смей делать это за них, Элла. Твои дети совершенно избалованы. Они уже достаточно взрослые, чтобы...

С пакетом мусора в одной руке и кружкой в другой я выхожу наружу, и ее ворчание уносит ветер.

Худший мамин совет: «Веди себя в духе Боттичелли». Будь как Венера, поднимающаяся из воды, стоя на раковине, с благонаравно сомкнутыми губами, целомудренная даже в своей наготе. Этот совет мама дала мне, когда мы с Питером стали жить вместе. Ее слова прибыли на выцветшей открытке, которую она купила много лет назад в сувенирном магазине галереи Уффици: «Дорогая Элинора, мне очень нравится твой Питер. Пожалуйста, постарайся иногда быть покладистее. Держи рот на замке и выгляди загадочно. Веди себя в духе Боттичелли. С любовью, мама».

Я бросаю мусор в бак, захопываю крышку и крепко завязываю трос, чтобы внутрь не забралась еноты. Это умные создания с длинными ловкими пальцами. Маленькие человекоподобные мишки, более смысленные и зловредные, чем кажутся. Мы воюем с ними уже много лет.

– Ты не забыла завязать трос, Элла? – спрашивает мама.

– Конечно. – Я благонаравно улыбаюсь и начинаю убирать со стола.

1969 год. Нью-Йорк

Скоро придет отец. Я прячусь, сидя на корточках за баром, который отделяет гостиную от просторной прихожей. Бар состоит из квадратных секций. В одной – алкоголь, в другой – граммофон, в третьей – папина коллекция пластинок, несколько огромных книг об искус-

стве, бокалы для martinis, серебряный шейкер. Секция с алкоголем открыта с обеих сторон, как окно. Я смотрю сквозь бутылки, замороженная их топазовым цветом: шотландский виски, американский виски, ром. Мне три года. Рядом папины драгоценные виниловые пластинки. Я веду пальцем по их краям, наслаждаясь издаваемым звукам, и вдыхаю запах их потрепанных картонных конвертов в ожидании, когда зазвонит звонок. Наконец появляется отец, и мне не хватает терпения остаться в своем укрытии. Я не видела его уже несколько недель. Вылетев в прихожую, я бросаюсь в его медвежьи объятия.

Развод еще не оформлен окончательно, но уже близко к тому. Для этого родителям придется пересечь границу и отправиться в Хуарес. Конец наступит, когда мы с моей старшей сестрой Анной будем терпеливо сидеть на краю восьмиугольного, выложенного мексиканской плиткой бассейна в лобби отеля, замороженно разглядывая золотых рыбок, плавающих вокруг островка из тропических растений с темными листьями. Много лет спустя мать расскажет, что в то утро она позвонила отцу с заявлением о расторжении брака в руке и сказала: «Я передумала. Давай не будем этого делать». И хотя развод был всецело ее решением, хотя его сердце было разбито, отец ответил: «Нет, Уоллес. Раз уж мы зашли так далеко, давай с этим покончим». «По-кон-чим» – три слога, изменивших мою жизнь. Но в тот момент, когда я бросала золотым рыбкам крошки своего английского маффина, стуча пятками по мексиканской плитке, я и понятия не имела о дамокловом мече у меня над головой. О том, что все могло пойти по-другому.

Но Мексика еще не случилась. Пока еще отец изображает радость и влюблен в мою мать.
– Элино! – Он подхватывает меня на руки. – Как поживает мой крольчонок?

Я смеюсь и цепляюсь за него с чувством, приближающимся к отчаянию; мои светлые кудряшки лезут ему в глаза.

– Папочка! – Анна выбегает, как бычок, разъяренная, что я успела первой, и отпихивает меня от него. Она на два года старше, и у нее больше прав. Папа как будто не замечает. Сейчас его заботит только собственная потребность в любви. Я протискиваюсь обратно.

Откуда-то из нашей невзрачной землистого цвета довоенной квартиры доносится голос мамы:

– Генри? Хочешь выпить? Я готовлю отбивные.

– С удовольствием! – откликается он раскатистым голосом, как будто между ними ничего не изменилось. Но в его глазах печаль.

08:15

– Мне кажется, вчерашний вечер прошел успешно, – говорит мама, выглядывая из-за потрепанного томика романа Дюма.

– Определенно.

– Джонас выглядел хорошо.

Мои руки, в которых я держу тарелки, напрягаются.

– Джонас всегда хорошо выглядит, мам.

Густые черные волосы, в которые можно запустить пальцы, светло-зеленые глаза, кожа цвета сосновой смолы – дикое создание, самый красивый мужчина на свете.

Мама зевает. Так она дает понять, что сейчас скажет что-то неприятное.

– Он славный, но я не выношу его мать. Корчит из себя праведницу.

– Это так.

– Как будто она единственная женщина в мире, которая сортирует мусор. И Джина. Даже спустя столько лет я все еще не могу понять, почему он на ней женился.

– Потому что она молода и красива? Потому что они оба творческие люди?

– Была молода, – поправляет мама. – А уж то, как она сверкает своим декольте... Расхаживает так, будто она мечта любого. Ей явно никто никогда не говорил, что нужно быть скромнее.

– Действительно, странно видеть женщину, знающую себе цену, – замечаю я, относя тарелки на кухню. – Наверное, родители в детстве ее поддерживали.

– Мне кажется, это некрасиво, – говорит мама. – У нас есть апельсиновый сок?

Я беру чистый стакан с крыла раковины и иду к холодильнику.

– Наверное, поэтому Джонас в нее и влюбился! – кричу я ей оттуда. – Наверное, она показалась ему экзотичной по сравнению с теми невротичками, рядом с которыми он вырос. Как пава среди куриц.

– Она из Делавэра, – заявляет мама таким тоном, словно это решающий аргумент. – Людей из Делавэра не бывает.

– Вот-вот, – отвечаю я, подавая ей стакан с соком. – Она экзотичная.

Но по правде говоря, каждый раз, как я смотрю на Джину, у меня возникают мысли: «Так вот кого он выбрал? Вот чего он хотел?» Я представляю ее: стройное, миниатюрное, как пчелиное жало, тело, ухоженные черные корни высветленных волос. Похоже, легкая неопрятность в образе снова в моде.

Мама опять зевает.

– Давай признаем, умом она не блещет.

– За столом был хоть кто-нибудь, кто тебе нравится?

– Я просто говорю честно.

– Не надо. Джина практически член семьи.

– Только потому, что у тебя нет выбора. Она замужем за твоим лучшим другом. Но вы с ней так и не сошлись.

– Неправда. Джина мне всегда нравилась. Может, у нас и не много общего, но я ее уважаю. И Джонас ее любит.

– Разве не ты как-то плеснула ей вином в лицо?

– Нет, мам. Я не плескала ей в лицо. Я споткнулась на празднике и случайно пролила на нее вино.

– Вы с Джонасом проболтали весь вечер. О чем вы говорили?

– Не помню. О всяком.

– Он был так влюблен в тебя в юности. Мне кажется, ты разбила ему сердце, когда вышла за Питера.

– Не говори ерунды. Он был совсем мальчишкой.

– Нет, это было серьезно. Бедняжка, – говорит она лениво, прежде чем вернуться к своей книге. Хорошо, что она не смотрит на меня, потому что я знаю: у меня на лице сейчас написано все, о чем я думаю.

Вода в пруду неподвижна. Из нее выпрыгивает рыбка, оставляя круги на поверхности. Я смотрю, как они расходятся и исчезают, как будто ничего не произошло.

2

08:45

Стол пуст, посуда свалена в раковину, и я жду, когда мама поймет, что пора отправиться на утреннее купание – и оставить меня одну на десять минут. Мне нужно все обдумать. Нужна ясность. Скоро проснется Питер. Дети. Я жажду времени. Но мама протягивает свою кружку.

– Окажи мне милость, а? Еще полкружечки.

Ее ночнушка задирается, и с того места, где я стою, мне видно все. Мама убеждена, что спать в трусах вредно для здоровья. «Нужно давать телу подышать ночью», – говорила она нам, когда мы были маленькими. Мы с Анной, конечно, не прислушивались к ее словам. Эта идея смущала нас, казалась какой-то грязной. Мы испытывали отвращение при одной только мысли, что у мамы есть вагина и что, хуже того, эту вагину по ночам ничто не прикрывает.

– Он должен ее бросить, – говорит мама.

– Кто? Кого?

– Джину. Она ужасная зануда. Я чуть не заснула вчера за столом под ее нудение. Подумаешь, она «создает» искусство! Правда? Нам-то что с того? – Она зевает и продолжает: – У них даже нет детей, так что это ненастоящий брак. Пусть сматывается пока может.

– Что за бред? Они официально женаты, – вспыхиваю я. Но в то же время думаю: «Она что, читает мои мысли?»

– Не знаю, почему ты ее так защищаешь, Элла. Он же не твой муж.

– Просто ты несешь чепуху. – Я открываю холодильник и снова захлопываю, плещу в кофе молоко. – Брак без детей – это не брак? Да кто ты такая, чтобы так говорить?

– Я имею право высказать свое мнение, – произносит она спокойным голосом, призванным вывести меня из себя.

– Полно женатых людей, у которых нет детей.

– Как скажешь.

– Господи! Твоей невестке сделали радикальную мастэктомию. От этого она перестала быть женщиной?

Мама смотрит на меня ничего не выражающим взглядом.

– Ты с ума сошла? – Она поднимается с дивана. – Пойду искупаюсь. А тебе стоит вернуться в постель и начать день заново.

Мне хочется ударить ее, но вместо этого я говорю:

– Они хотели детей.

– Бог знает зачем.

Дверь за ней захлопывается.

1970 год. Октябрь, Нью-Йорк.

Мама отправляет нас в соседнюю квартиру поиграть с детьми ее любовника, пока его жена за нами приглядывает. Мама с любовником тем временем решают, стоит ли ему расходиться с женой. Я уже старше – еще маленькая, чтобы понимать, что происходит, но все равно думаю, что это странно, когда, посмотрев через внутренний дворик из их окна в наше, вижу, как мистер Дэнси сжимает мою мать в объятиях.

Двухлетний сын мистера Дэнси, сидя на высоком стульчике в тесной кухне, играет с пластиковым контейнером. Миссис Дэнси не отрываясь смотрит на беременную самку клопа, которая лежит на спине в дверном проеме между кухней и столовой. Из нее нескончаемым потоком выползают крохотные клопики и быстро исчезают в щелях паркета. Из спальни выхо-

дит Анна с дочерью мистера Дэнси Блайт. Анна плачет. Блайт отрезала ей челку детскими ножницами. Теперь на лбу у Анны торчит неровный полумесяц темных волос. Самодовольная, торжествующая улыбка Блайт напоминает мне сэндвич с майонезом. Ее мать как будто ничего не замечает. Она неотрывно смотрит на рожающую самку клопа, и по ее щеке скатывается слеза.

08:50

Я сижу на диване, устроившись на нагретом месте, которое оставила после себя мама. На маленьком пляже на дальней стороне пруда уже появляются люди. Обычно это арендаторы – туристы, которые случайно забрели в лес и в восторге обнаружили укромный идиллический уголок. «Чужаки», – с раздражением думаю я.

Когда мы были маленькими, в Бэквуде все друг друга знали. Коктейльные вечеринки переходили из дома в дом: босоногие женщины в развевающихся платьях, красавцы-мужчины в белых подвернутых брюках, джин с тоником, дешевые крекеры, фермерский сыр, рой комарья и «Каттер» – средство от насекомых, которое в кои-то веки действовало. Песчаные лесные дороги были испещрены солнечными зайчиками, пробивающимися сквозь ветки сосен и болиголовов. Когда мы шли на пляж, над дорогой поднималась красная пыль, напоенная запахом лета – сухим, сладким, запекшимся, стойким. Посреди дороги росла высокая коричневая трава вместе с ядовитым плющом. Но мы знали, чего избегать. Проезжающие мимо машины останавливались, предлагали подвезти нас на подножке или на капоте. Никому не приходило в голову, что мы можем упасть под колеса. Никто не боялся, что течение утянет ребенка в открытый океан. Мы бегали вокруг без присмотра, купались в пресноводных прудах, заполонивших Бэквуд. Мы называем их прудами, но на самом деле это озера – некоторые широкие и глубокие, другие мелкие, с чистым дном, – образовавшиеся в конце Ледникового периода, когда отступающий ледник оставил после себя тающие глыбы, такие тяжелые, что в земной коре появились вмятины – глубокие котлованы, которые потом заполнились чистой водой. В нашем лесу девять прудов. Мы купались в них всех, проходили по чужим участкам к маленьким песчаным бухточкам, вылезали из воды на стволы упавших деревьев. Нырjali бомбочкой. Никто не обращал на нас внимания. Все верили в древнее право прохода, и тенистые тропки вели к черным входам старых домов, которые были построены еще тогда, когда на мысе появились первые грунтовые дороги, и до сих пор стоят, сохранившиеся благодаря снегу, морскому воздуху и жаркому лету. И мы рвали жеруху, растущую в ручьях – чужих ручьях, чужую жеруху.

Та сторона мыса, что обращена к заливу, выглядит более цивилизованной, пасторальной. Пологие холмы, поросшие клюквой, сливой и лавром. Но сторона, обращенная к океану, всегда была дикой. Волны неистово разбивались о берег, дюны были такими высокими, что можно было сбежать с них, как с горы, глядя, как земля несется навстречу, и упасть на теплый песок. В те годы никто из маминых подруг не брюзжал, как сегодня, что дети разрушают дюны, когда играют на них, как будто их маленькие ножки могут соперничать с суровыми зимними ветрами, жадно сжирающими куски берега.

По вечерам, сидя у костра на пляже, взрослые и дети угощались хрустящими от песка бургерами со сладким соусом, разложенными на столах из плавника. Наши родители пили джин из банок и исчезали в темноте за пределами света от костра, чтобы поцеловаться в высокой траве со своими любовниками.

С течением лет двери стали закрываться. Появились таблички: «Частная собственность». Дети первых поселенцев, которые застроили эту территорию – художников, архитекторов, других представителей интеллигенции, – стали воевать друг с другом за место на мысе. Усобицы начинались из-за шума на прудах, из-за споров, у кого больше прав любить эту землю. За заборами стали лаять собаки. Сейчас даже на пляжах кругом таблички «Не ходить»: огромные

участки огорожены, чтобы защитить гнездовья куликов. Птицы – единственные, у кого осталось право прохода. Но это все еще мой лес, мой пруд. Место, куда я езжу вот уже пятьдесят лет – каждое лето моей жизни. Место, где мы с Джонасом впервые встретились.

С дивана на веранде я смотрю, как мама проплывает полуторакилометровое расстояние через пруд. Ее руки рассекают воду с почти механической размеренностью. Мама никогда не поднимает головы, когда плавает. У нее как будто есть шестое чувство, подсказывающее, в какую сторону двигаться, как у китов, которые мигрируют, повинаясь древним инстинктам. И я, как это часто со мной происходит, задумываюсь, а не улавливает ее эхолокатор нечто большее, чем песни китов? «Он должен ее бросить». Это то, чего я хочу? Джина с Джонасом – наши давние друзья. Мы проводили вместе почти каждое лето нашей взрослой жизни: вскрывали устриц и живьем высасывали их из раковин; смотрели, как над морем встает полная луна, слушая жалобы Джины на то, что из-за луны у нее все сильнее болит при месячных; молились, чтобы местные рыбаки истребили тюленей; передерживали в духовке индейку на День благодарения, спорили по поводу Вуди Аллена. Джина же крестная мать моей дочери Мэди! А если Джонас действительно бросит Джину? Неужели я смогу совершить такое предательство по отношению к ней? Хотя я уже совершила. Я вчера трахнула ее мужа. И при воспоминании об этом мне хочется сделать это снова. Дрожь пробегает по мне блестящей ртутью.

– Доброе утро, женошечка. – Питер целует меня сзади в шею.

– И тебе доброе утро, – отвечаю я, стараясь вести себя как обычно.

– Кажется, ты о чем-то глубоко задумалась, – говорит он.

– Кофе готов.

– Отлично. – Он лезет в карман и достает оттуда сигареты. Закуривает. Садится на диван рядом со мной. Мне нравится, как его длинные ноги торчат из-под выцветших шорт. По-мальчишечьи. – Поверить не могу, что ты вчера дала мне заснуть на диване.

– Ты падал от усталости.

– Наверное, из-за джетлага.

– И не говори, – отвечаю я, закатывая глаза. – Эта часовая разница с Мемфисом меня убивает.

– Серьезно. Я еле-еле проснулся. На часах было девять, но, клянусь, мне казалось, что еще восемь.

– Смешно.

– Я слишком много выпил.

– Это еще мягко сказано.

– Я сделал что-то глупое?

– Помимо того, что отказался читать оду Шелли в честь Анны и начал спорить из-за квакеров?

– Ну, все же согласны, что они практически фашисты, – защищается он. – Такие агрессивные.

– Ты засранец. – Я целую его в очаровательно щетинистую щеку. – Тебе надо побриться.

Он поправляет очки на носу и пытается пригладить кудрявые русые волосы, уже начинающие сесть на висках. Мой муж – роскошный мужчина. Не красивый, а именно роскошный, как в старом кино. Высокий. Элегантный. Британец. Уважаемый журналист. Из тех мужчин, что сексуально смотрятся в костюме. Философ. Терпеливый, но страшный в гневе. Умеет хранить секреты. Редко что-то упускает. Сейчас он смотрит на меня так, будто чувствует исходящий от меня запах секса.

– Где дети? – Питер берет большую белую ракушку из числа тех, что обрамляют наш подоконник, переворачивает ее и тушит в ней сигарету.

– Я дала им поспать подольше. Мама терпеть не может, когда ты так делаешь. – Я забираю у него раковину, отношу на кухню, вытряхиваю бычок в мусорку и споласкиваю. Мама почти доплыла до противоположного берега.

– Бог ты мой, эта женщина умеет плавать, – говорит Питер.

Единственный известный мне человек, который мог бы победить маму в соревновании по плаванию, это Анна. Анна не плыла через пруд – она летела. Оставляла всех позади. Я слежу за скопой в небе, которую преследует маленькая черная птичка. Ветер колышет кувшинки на поверхности пруда. Они вздыхают.

09:15

Питер готовит на кухне яичницу. До меня на веранде долетает запах жарящегося лука. На бумажных полотенцах на кухонном столе лежит, истекая жиром, подкопченный на яблоневых дровах бекон. Нет ничего лучше яичницы с беконом после похмелья. А точнее, нет ничего лучше бекона. Пицца богов. Так же, как руккола, нефильтованное оливковое масло и маринованные баклажаны. Набор продуктов, который я взяла бы с собой на необитаемый остров. И еще пасту. Я часто фантазирую о том, что делала бы, чтобы выжить на необитаемом острове. Питалась бы рыбой, построила бы дом, высоко на дереве, чтобы никакое животное не могло до меня добраться; мое тело стало бы поджарым. В этих фантазиях я всегда нахожу полное собрание сочинений Шекспира, каким-то образом вынесенное на берег, и, не зная, чем еще заняться, трепетно перечитываю каждую строчку. Под влиянием этих обстоятельств я наконец становлюсь лучшей версией себя – раскрываю тот самый скрытый потенциал. В других фантазиях я попадаю в тюрьму или в армию – куда-то, где у меня нет выбора, где каждая секунда моего дня подчинена распорядку, где слишком страшно потерпеть неудачу. Самообразование, сто отжиманий и сухари с водой – вот о чем были мои детские грезы. Джонас появился в них уже позже.

Я захожу на кухню и тянусь к бекону. Питер шлепает меня по руке.

– Не таскай. – Он перемешивает яйца с тертым сыром, сыплет перец из мельнички.

– Почему ты делаешь это в кастрюле? – Терпеть не могу, как британцы готовят яичницу. Ясно же: нужно использовать сковородку и побольше сливочного масла. А после этого дурацкого томления на медленном огне мне остается кастрюля, которую практически невозможно отмыть. Приходится заливать водой на два дня.

– Гр-р-р, – я тычу в него лопаткой.

Рубашка Питера заляпана жиром.

– Отвали, красотка. Я готовлю яичницу. – Он идет к хлебнице и берет нарезанный батон. – Сделай тосты, пожалуйста.

Я чувствую, как краснею: меня обдаёт жаром при воспоминании о спрятанных за хлебницей трусах, кучке черного кружева, о наготы у меня под юбкой и его пальце, скользящем по моему бедру.

– Элла, прием! Земля вызывает.

В мамин тостер можно поместить только два куска. Хлеб в нем подгорает с одной стороны и остается мягким с другой. Поэтому я включаю духовку и выкладываю хлеб на противень. Беру масло, размышляя, стоит ли намазать его сначала или после.

– Когда будет готово?

– Через восемь минут, – отвечает Питер. – Максимум двенадцать. Иди будить детей.

– Надо подождать маму.

– Яичница засохнет.

Я смотрю на пруд.

– Она уже на полпути обратно.

– Кто плавает, тот ест остывший завтрак.

– Ладно. Тогда ты будешь разбираться с последствиями.

Когда мама чувствует себя оскорбленной, она делает так, чтобы все, кто находится поблизости, тоже страдали. Но Питера этим не пронять. Он просто смеется над ней, говорит, чтобы она перестала сходить с ума, и она почему-то слушается.

1952 год. Нью-Йорк

Маме было всего восемь лет, когда ее мать, Нанетта Солтонстолл, вышла замуж во второй раз. Нанетта была светской львицей – эгоистичной и прекрасной, знаменитой своими чувственными, жестокими губами. Детство ее прошло в богатстве, она была избалована отцом-банкиром. Но все изменилось с началом Великой депрессии. Семья переехала из особняка на Пятой авеню в темную тесную квартирку в Йорквилле, где единственной роскошью, которую позволял себе мой прадед Джордж Солтонстолл, был коктейль водка-мартини, который он каждый день в шесть часов делал в хрустальном шейкере, помешивая ложечкой из чистого серебра. Красота старшей дочери осталась его единственным активом: Нанетта должна была выйти за богача и спасти семью. Таков был план. Вместо этого она поступила в школу дизайнера в Париже и влюбилась в моего деда, Эймори Кушинга, бостонского брамина, но при этом нищего скульптора, единственным достоянием которого был ветхий дом на берегу пруда в далеких лесах мыса Код, в Массачусетсе. Он унаследовал дом и пруд от какого-то дальнего родственника.

Дедушка Эймори построил нашу дачу в тот короткий период, когда они с бабушкой были влюблены друг в друга. Он выбрал длинный узкий участок, скрытый от его дома изгибом берега. У него была задумка сдавать домики на лето, чтобы иметь дополнительный источник дохода, который помог бы обеспечивать очаровательную молодую жену и двух маленьких детей. Снаружи эти домики крепкие, водонепроницаемые: они выдержали множество суровых зим, ураганов и поколения бранящихся родственников. Но у дедушки закончились деньги, поэтому внутренние стены и потолок он сделал из прессованного картона, дешевого и практичного, и назвал дачу Бумажным дворцом. Чего он не предусмотрел, так это того, что бабушка бросит его до завершения строительства. Как и того, что картон обожают мыши, которые прогрызают дырки в стенах каждую зиму, отгрызают кусочки и кормят ими, как хлопьями, своих крошечных детенышей, рожденных в ящичках стола. Каждое лето тот из нас, кто открывает дачный сезон, должен вытряхнуть мышиные гнезда в лес. Сложно на них сердиться: зимы на мысе жестоки, как это в свое время узнали отцы-пилигримы. Но мышьяная моча воняет, и я всегда ненавидела писк ужаса, с которым они падали из деревянных ящичков в кусты.

После развода с дедушкой бабушка Нанетта несколько месяцев колесила по Европе, загораючи топлес в Кадакесе и попивая холодный херес с женатыми мужчинами, пока мама и ее маленький брат Остин ждали в лобби отелей. Когда деньги подошли к концу, Нанетта решила, что пора вернуться домой и сделать то, чего изначально хотели родители. В общем, она вышла замуж за банкира. Джима. Он был человеком из хорошего общества. Из Андовера, учился в Принстоне. Купил Нанетте квартиру с видом на Центральный парк и длинношерстную сиамскую кошку. Маму с Остином отдали в дорогие частные школы Манхэттена, где мальчикам-первоклассникам полагалось ходить в пиджаке и галстук, а мама выучилась говорить по-французски и готовить десерт «запеченная Аляска».

За неделю до своего девятого дня рождения мама впервые сделала минет. Сначала она смотрела, как маленький шестилетний Остин держит в крохотных дрожащих ручках пенис отчима, чтобы тот затвердел. Джим сказал им, что в этом нет ничего такого, разве они не хотят его порадовать? Хуже всего, говорила мама, когда наконец рассказала мне эту историю, была липкая белая сперма. Остальное она, пожалуй, могла бы вытерпеть. Это и еще тепло пениса, исходивший от него легкий запах мочи. Джим пригрозил прибить их, если они когда-нибудь

расскажут матери. Они все равно рассказали, но та обвинила их во лжи. Нанетте некуда было идти, у нее не было своих денег. Застукав мужа, когда тот трахал няню в комнате для прислуги рядом с кухней, она сказала ему не быть вульгарным и захлопнула дверь.

Как-то раз в субботу Нанетта рано вернулась с обеда в клубе. У ее подруги Мод разболелась голова, и бабушке не хотелось идти в музей Фрика одной. В квартире было пусто – только кошка обвилась вокруг ее лодыжек в прихожей, соблазнительно выгнув спину. Бабушка бросила шубу на лавку, сняла каблуки и прошла по коридору в спальню. Джим со спущенными штанами сидел в кресле. Мама стояла перед ним на коленях. Бабушка подошла к ним и отвесила маме пощечину.

Мама рассказала мне эту историю, когда мне было семнадцать. Я была в ярости, потому что она дала Анне денег на новый блеск для губ, а меня заставила остаться дома и мыть посуду.

– Бога ради, Элла, – сказала она, когда я, надувшись, стояла у раковины. – Тебе пришлось помыть тарелку, тебе не достался блеск для губ... Мне приходилось отсасывать отчиму. А Остин всего лишь должен был ему подрочить. Что мне тебе сказать? Жизнь несправедлива.

09:20

«Как странно, что мама потеряла уважение к женщинам, но не к мужчинам», – думаю я, пока иду к домику детей. То, что отчим оказался извращенцем, было жестокой правдой, но именно слабование и предательство матери превратило ее сердце в лед. В мамином мире мужчины заслуживают уважения. Она верит в стеклянный потолок. Питер не может сделать ничего плохого. «Если хочешь порадовать Питера, когда он приходит домой с работы, – советовала мне мама много лет назад, – надень свежую блузку, втяни живот и улыбайся».

Веди себя в духе Боттичелли.

3

1971 год. Апрель, Нью-Йорк

Мистер Дэнси пристально смотрит на маленькую квадратную ванну в комнате для прислуги рядом с нашей темной кухней. Миссис Дэнси переехала. Мистер Дэнси часто приходит в гости, из-под закатанных рукавов его рубашки выглядывают мускулистые руки. На эмалированном кране, который он сейчас закручивает, значатся буквы «Г» и «Х». Под прохладной водой блестит старый медный слив. В ванне плавает крошечный аллигатор. Мистер Дэнси купил его в Чайна-тауне в качестве питомца для своих детей. Ему сказали, что это особый вид карликовых аллигаторов, который не вырастает больше 30 сантиметров. Теперь он понял, что его облапошили. Этот аллигатор просто еще детеныш. Скоро он вырастет и станет опасным. Даже сейчас, в этой маленькой ванне, в его глазах горят зловещие огоньки. Я опускаю в воду деревянную палочку для еды и смотрю, как он сердито щелкает зубами в испуганных, безуспешных попытках ее схватить.

– Дай мне палочку, – требует Анна, наклоняясь так низко, что оказывается в опасной близости от воды. – Дай сюда!

Ее длинная черная коса болтается у поверхности воды, как приманка.

Я отдаю ей палочку, и она тычет в животное. Мистер Дэнси смотрит, поглаживая густые усы цвета ирисок. Потом вытаскивает маленького аллигатора из воды за гребнистый хвост и заносит над унитазом. Тот извивается в воздухе, пытаясь укусить его за запястье. Я заворожено смотрю, как мистер Дэнси роняет аллигатора в унитаз и смывает.

– Мы не можем его оставить, – говорит он. – Он вырастет и превратится в чудовище.

– Карл, – доносится откуда-то из квартиры мамин голос, – хочешь выпить? Ужин почти готов.

1971 год. Июнь, Нью-Йорк

Первая неделя, которую мы с Анной проводим в папином новом жилье. Это всего лишь маленькая неопрятная квартирка на Астор-Плейс, но он делает так, чтобы она казалась экзотической и навевала мысли о приключениях. Воздух здесь душный, спертый, кондиционера нет – проводка слишком стара для этого, но он купил нам вентилятор. И пообещал, что, как только получит следующую зарплату, купит каждой из нас по кукле Барби из той серии, что представляют разные страны. Я хочу Голландию. Он обещает много чего замечательного, но в конце концов мы понимаем, что не стоит ждать от него исполнения обещаний. «Теперь здесь только мы с моими девочками». Мы прыгаем на нашей новой выдвижной кровати, танцуем под группу «Манкиз» и едим черничные йогурты. Если долго размешивать варенье на дне, то йогурт будет становиться все темнее и темнее, говорит нам папа, включая вечерние новости.

В понедельник утром он тщательно одевается в синий полосатый костюм от дорогого бренда и обувает коричневые туфли, которые до блеска натер замшей. От него пахнет одеколоном и пенкой для бритья. Он смотрится в зеркало в прихожей, расчесывает волосы на пробор маленьким черепаховым гребешком, поправляет галстук так, чтобы тот находился ровно посередине между краями накрахмаленного воротничка, подворачивает манжеты и вставляет золотые запонки. «Ваш отец в юности славился своей красотой, – рассказывала нам мама. – Его называли королем бала, когда он играл в футбол в Йеле. Эта дурацкая игра испортила ему колени».

Я держусь за полу его пиджака, пока мы спускаемся по темной скрипучей лестнице. Мои волосы похожи на воронье гнездо. Никто не напомнил мне их расчесать. У меня сводит живот от нервов. Сегодня наш первый день в летнем лагере «День триумфа». Нам с Анной предстоит самим ехать на автобусе. Мы обе одеты в форму лагеря: темно-синие шорты и белые футболки с надписью «Триумф» на груди. А на спине надпись: «Все девчонки – чемпионки».

– В мире очень мало девочек, которым повезло носить такие футболки, – говорит нам папа. По пути на автобус он покупает в кофейне сэндвичи из финикового хлеба со сливочным сыром нам с собой на обед. Я не хочу, чтобы он сердился, но слезы выдают меня, сами собой наворачиваясь на глаза. Не люблю сливочный сыр, говорю я, когда он спрашивает, что случилось. Папа отвечает, что мне обязательно понравится, и протягивает бумажный пакет. Я вижу, что он взвинчен, и это меня беспокоит. Когда он сажает нас на лагерьный автобус, я умоляю его не посылать меня туда. Но не могу же я разорваться, отвечает он. Ему надо зарабатывать на жизнь. Писать рецензии на книги. Журнал ждет. Но папа будет здесь, когда мы вернемся. И в лагере нам очень понравится, обещает он.

Когда автобус присоединяется к потоку машин на Шестой авеню, я смотрю, как папа становится все меньше и меньше. Отрываю кусочек от своего пакета с сэндвичем и жую, пока бумажка не превращается в шарик. Что мне делать, если я захочу писать? Как я пойму, куда идти? Мне хочется получить значок по плаванию, но мне не разрешено по возрасту. Анна, не обращая на меня внимания, болтает с девочкой на соседнем сиденье и съедает половину своего обеда еще до того, как мы доезжаем до Уэстчестера.

Лагерь «День триумфа» расположен на озере. Мы проезжаем мимо бейсбольных площадок, полей с мишенями для игры в дартс, огромного вигвама. Водитель останавливается в хвосте длинного ряда желтых автобусов. На парковке море девочек. Все в одинаковых футболках с надписью «Триумф».

Наши вожатые представляются как Джун и Пиа. Они в таких же футболках, только ярко-красных.

– Добро пожаловать, группа от пятилеток до семилеток! Для новеньких: если мы вам нужны, ищите красные футболки, – говорит Джун. – А теперь поднимите руку те, кто был здесь в прошлом году.

Большинство девочек в моей группе поднимают руку.

– Значит, вы уже чемпионки! Ладно, давайте по порядку. Сначала ходим к вашей комнате, чтобы вы могли оставить обед там. Мы в «Маленькой стреле».

Джун строит нас в шеренгу и ведет к большому коричневому зданию. Пиа замыкает процессию.

– Чтобы никто не потерялся, правило первое: никогда не отходите от группы. Но если вы все-таки оказались одни, не двигайтесь. Сядьте там, где стоите, и ждите. Кто-нибудь из нас обязательно за вами вернется, – объясняет нам она.

На краю каждой кровати прилеплен белый скотч с именем и датой рождения, написанными маркером. «Элинон Бишоп, 17 сентября, 1966». Я кусаю себя за палец. Теперь все узнают, что мне нет еще и пяти, и не будут со мной играть. Рядом с моей кровать Барбары Даффи. Ей семь лет, и на ее контейнере с обедом изображены «Битлз».

– Хватайте свои рюкзаки! – зовет Джун. – Сейчас будет перерыв на туалет, а потом мы переоденемся в купальники. Кто-нибудь умеет держаться на воде в вертикальном положении? Вот здесь творческая мастерская, – показывает она на комнату, мимо которой мы проходим; оттуда доносятся запахи клея и цветного картона.

Раздевалка поделена на кабинки. Я захожу в свою и задергиваю занавеску. Уже раздевшись до трусов, понимаю, что папа забыл положить мой купальник. К тому моменту, когда я снова одеваюсь, все уже ушли на озеро. Я сажусь на деревянную скамейку.

Джун и Пиа не замечают, что меня нет, до самого перерыва на перекус, когда пересчитывают детей по головам после купания. Из раздевалки я слышу: зовут меня. Потом раздается свисток, пронзительный и встревоженный.

– Всем выйти из воды! – кричит спасательница на пляже. – Сейчас же!

Я тихо сижу, дожидаясь, когда кто-нибудь вернется за мной.

09:22

Ступеньки крыльца у домика детей – три старые сосновые доски, скрепленные скобами, которые заржавели еще до моего рождения, – прогибаются под моим весом. Я колочу в дверь. Металлическую, со стеклянной панелью и москитной сеткой, которые можно поднять или с приятным щелчком опустить на место. Трое моих детей уютно лежат в постелях; выкрашенный ярко-желтой краской пол завален купальниками, плавками и мокрыми полотенцами. Мама права. Они действительно свиньи.

– Эй! Завтрак! – стучу я в дверь. – Подъем!

Джек, мой старшенький, поворачивается на другой бок, смотрит на меня с холодным презрением и натягивает на голову шерстяное одеяло. Его насильно переселили к мелким на несколько ночей, пока мама окуривает его домик от муравьев. Семнадцать – сложный возраст.

Младшие высовываются из своих коконов, моргая сонными глазами в утреннем свете.

– Еще пять минут, – стонет Мэдди. – Я еще даже не хочу есть.

Мадден десять лет. Она удивительно красива, совсем как моя мать. Но в отличие от большинства женщин в нашей семье она миниатюрная, с нежно-розовой английской кожей, серыми, как у Питера, глазами и густыми темными волосами, как у Анны. Каждый раз при взгляде на нее я дивлюсь, как такое создание могло выйти из меня.

Финн вылезает из постели в своих милых мешковатых трусах и протирает глаза от песка. Боже, как же я его люблю. На его щеках вмятины от подушки после сна. Ему всего девять – еще почти ребенок. Но скоро он тоже начнет относиться ко мне с презрением.

Когда родился Джек, я посмотрела на крошечного, по-пороссячи очаровательного младенца у меня на руках, поцеловала его в веки и сказала: «Я так тебя люблю, но когда-нибудь ты возненавидишь меня, что бы я ни делала. По крайней мере, на какое-то время». Такова жизнь.

– Ладно, котики. Хотите – приходите, хотите, – нет. Но ваш отец делает яичницу, и вы знаете, что это означает.

– Полный триндец, – говорит Джек.

– Точно. – Я шумно спускаюсь с крыльца. – Выбирай выражения! – кричу я ему через плечо, когда иду по усыпанной сосновыми иголками тропе.

Дождавшись, когда дверь моего домика захлопнется у меня за спиной, я позволяю себе выдохнуть – в первый раз с того момента, как Питер незаметно подошел ко мне на веранде. Привычная обстановка нашей комнаты кажется нереальной. Одежда на допотопных металлических плечиках на самодельной деревянной вешалке. Наш дубовый комод, нижний ящик которого заедает, когда идет дождь. Кровать, на которой мы столько лет спали с Питером, свернувшись, как молодые побеги папоротника, сплетенные в поту, сексе и поцелуях, в его кисло-сладком запахе. Он оставил кровать незаправленной.

Я вешаю халат на ржавый гвоздь, который служит крючком. Рядом мутное зеркало в полный рост, состарившееся за полвека влажности и морозов. Я всегда была благодарна за его тусклое отражение, его щербинки. И сейчас я смотрю на себя сквозь серебристую рябь, скрывающую все мои недостатки: неровный шрам на подбородке, оставшийся с тех пор, когда к нам с Питером вломился грабитель, длинный тонкий шрам, пересекающий живот, все еще заметный спустя пятьдесят лет, и белый шрамик под ним.

Джек родился сразу. Но после Джека – никого. Как бы мы ни старались, какие бы позы ни пробовали: ноги вверх, ноги вниз, напряженно или расслабленно, сверху или снизу. Безуспешно. Сначала я думала, что это из-за Джека. Может быть, что-то порвалось во мне во время родов. А может быть, я любила его слишком сильно, чтобы позволить себе им делиться. Наконец доктор сделал маленький надрез над моей лобковой костью и ввел внутрь меня камеру в поисках ответов.

– Что ж, юная леди, – сказал он, когда я отошла от анестезии, – кто-то порядочно вас искромсал, когда вы были младенцем. Рубцы как в спагетти-вестерне. Хуже всего, что хирург умудрился оттяпать вам левый яичник. Но есть и хорошие новости, – говорит он, когда я заливаюсь слезами. – Рубцовая ткань пережала вашу здоровую трубу. Яйца не могли пройти. Я ее освободил.

Спустя год родилась Мэдди. А еще через одиннадцать месяцев – Финн.

– Поздравляю, – сказал доктор нам с Питером, когда я лежала на кушетке. – У вас ирландские близнецы.

– Ирландские близнецы? – повторил Питер. – Это невозможно.

– Конечно, возможно, – ответил доктор.

– Ну, – сказал Питер. – Если вы окажитесь правы, то я найду того пьяного ирландца, который трахнул мою жену, и сброшу его с самого высокого утеса в Килкенни прямо в море.

– В Килкенни нет моря, – сказал доктор. – Я был там несколько лет назад на турнире по гольфу.

Я становлюсь перед тем участком зеркала, который лучше всего сохранился, и разглядываю свое обнаженное тело в поисках чего-то, что выдавало бы правду, скрытую внутри меня панику, голод, сожаление и неистовое желание большего. Но вижу лишь ложь.

– Завтрак! – кричит из большого дома Питер. – Бегом-бегом!

Я надеваю купальник, хватаю парео и несусь по тропинке, попутно постучавшись к детям. Но, не дойдя до большого дома, я сдерживаю себя, замедляю шаг. Не в моем духе вот так сразу бежать на зов, и Питер это знает. Я пролезаю сквозь кусты на берег, закапываюсь пальцами во влажный песок. Посреди пруда мама равномерно водит ногами, оставляя за собой белый след. Вода голубеет. Скоро даже прозрачные коричнево-зеленые участки на мелководье будут отражать небо. И плавающие вокруг своих круглых песчаных гнезд пескари и большеротые окуни как минимум эти несколько часов будут не видны. То, что лежит под поверхностью, будет скрыто от нас.

1972 год. Июнь, Бэквуд

Я бегу в своей хлопковой ночной рубашке через лес, по узкой тропе, соединяющей нашу дачу с домом дедушки Эймори. Тропа идет то вверх, то вниз, вдоль неровного берега пруда. Папа прорубил ее между двумя участками, когда они с мамой только сошлись. Дедушка Эймори называет ее «тропой философа», потому что, по его словам, она все петляет, петляет и никак не дойдет до сути. Приблизившись к дому дедушки, она круто уходит вниз по склону. Я бегу по ней, стараясь не наколоть босые ступни пеньками от кустов, которые срубил отец. Эти дурацкие маленькие пеньки – единственное, что осталось здесь после него.

На цыпочках прокравшись мимо дедушкиного окна, чтобы не разбудить его, я бегу в конец его деревянного пирса. Сажусь, свешиваю ноги и чешу живот, стараясь сидеть неподвижно. Ноги покрывают микроскопические пузырьки, словно карбонизированные ножны. Скоро появятся. Надо сидеть тихо. Не шевелиться. Пусть ноги будут приманкой. Потом из темного участка воды вылетает стремительная тень. Смелость берет верх над страхом, и наконец я чувствую пощипывание. Одна за другой маленькие рыбки целуют мне ноги, ссасывая

с них кусочки мертвой кожи и прилипшей лесной земли. Обожаю этих рыбок. Они того же цвета, что и вода, у них пятнистые спинки и мило поджатые губы. Каждое утро я приношу им свежие ноги на завтрак.

Когда я возвращаюсь домой, мама с мистером Дэнси еще в постели. Одно окно их домика выходит на пруд. Я без стука влетаю к ним в комнату, залезаю на их пружинистый матрас мокрыми ногами в песок и начинаю подпрыгивать. Моя ночнушка взлетает каждый раз, как я приземляюсь.

– Вон отсюда! – рычит мистер Дэнси в полусне. – Черт возьми, Уоллес.

Из окна я вижу в воде Анну и ее лучшую подружку на лето Пегги: они плещут друг в друга. Пегги рыжая и веснушчатая.

– Это еще что такое? – показывает мама мне на живот. – Стой смирно!

Я перестаю прыгать, задираю ночнушку и даю маме осмотреть живот. Он усыпан красными точками.

– Вот же блин, – говорит она. – Ветрянка. Где ты ее подхватила? Нужно проверить Анну.

– Чешется, – жалуюсь я, спрыгивая с кровати.

– Сиди здесь, – приказывает мама. – Схожу возьму лосьон от ожогов.

– Я хочу купаться.

– Сиди в комнате. Мне не нужно, чтобы ты еще заразила Пегги.

Я отпихиваю ее и бегу к двери.

Мистер Дэнси крепко хватает меня за руку.

– Ты слышала, что сказала тебе мать.

Я пытаюсь вырваться, но его рука сжимается сильнее.

– Карл, хватит. Ей же больно, – говорит мама.

– Нужно научить ее, как себя вести.

– Да ладно тебе, – застывает мама. – Ей всего пять лет.

– Не указывай мне.

– Конечно, нет, – отвечает мама успокаивающим тоном.

Он отбрасывает одеяло и принимается натягивать одежду.

– Если бы я хотел возиться с избалованными сопляками, то провел бы время с собственными детьми.

– Что ты делаешь? – Мамин голос звучит напряженно, пронзительно.

– Увидимся в городе. Здесь я не могу расслабиться.

– Карл, пожалуйста!

Дверь за ним захлопывается.

– Не двигайся с места, – говорит мама. – Если я увижу тебя на улице, ты очень пожалеешь.

И выбегает вслед за ним.

Я сажусь на кровать, смотрю, как Анна надевает маску и дыхательную трубку. Она опускается на корточки лицом к берегу, погружает маску в пруд, потом выливает из нее воду и плюет в нее. Пегги за ее спиной заходит все глубже и глубже. С каждым шагом еще несколько сантиметров ее тела скрываются из виду. До меня доносится шум мотора. Я слышу, как мама кричит: ее голос звучит все слабее, пока она бежит по дороге за машиной мистера Дэнси. Я вижу, как скрываются концы рыжих хвостиков Пегги. Над водой остается только ее голова, парящая, бестелесная. А потом только макушка, похожая на спинку черепахи. И наконец только пузырьки на поверхности воды. Я представляю, как рыбки дарят ей свои мягкие поцелуи. Пузырьки исчезают. Я жду, когда Пегги вынырнет. Стучу по стеклу, пытаюсь привлечь внимание Анны. Я знаю: она меня слышит, но не утруждается поднять голову. Я снова стучу, сильнее. Анна показывает мне язык и садится на песок, чтобы надеть желтые ласты.

4

10:00

В пепельнице возле Питера уже пять окурков. Еще одна сигарета свисает у него изо рта. Он как ни в чем ни бывало пьет кофе, не вытаскивая ее. Без рук. Как фокусник. Когда он глотает, из его губ вырывается тонкая струйка дыма. Он достает из кармана оранжевую зажигалку, крутит ее в руке, как четки, и, перевернув страницу газеты, слепо тянется за беконем. Если бы можно было курить во сне, он бы это делал. Когда мы только стали встречаться, я постоянно пилила его, умоляя бросить. Но это было все равно что просить курицу взлететь. Видит бог, я хочу спасти ему жизнь, но он единственный, кто в силах это сделать.

Дети развалились на диване, приклеившись к своим экранам, из каждой розетки торчит белая зарядка, грязные тарелки все еще на столе, потрепанный мамин роман сброшен на пол. Большая часть яичницы и весь бекон уже съедены. Я смотрю, как мама выходит на берег, стряхивая с себя воду. Яркие капли брызжут во все стороны. Мама распускает волосы, выжимает их, потом быстро закручивает снова и закалывает. Берет старое мятно-зеленое полотенце, которое повесила на ветку дерева, и заворачивается в него. Я откусываю тост. В семьдесят три года она все еще красавица.

В то утро, когда Пегги утонула, я стояла почти на том же месте, что и сейчас, глядя, как она исчезает в воде. А потом появилась мама, все еще в неглиже, и, закричав на Анну, с плеском ринулась в пруд, нырнула. И когда выплыла, держала за волосы Пегги. Та вся посинела. Мама выволокла ее на берег за хвостик, стала колотить по груди и вдыхать воздух ей в рот, пока Пегги не исторгла из себя воду, возвращаясь к жизни. В отрочестве мама работала спасательницей на пляже и знала секрет: некоторые утопленники могут восстать из мертвых. Я смотрела. В то время как моя мама изображала Всевышнего. В то время как мистер Дэнси навсегда уезжал из нашей жизни. В то время как Анна тыкала веткой в ноги Пегги, пытаясь ее разбудить.

Теперь я смотрю, как мама подставляет лицо теплому ветру. Ее руки покрыты старческими пятнами. На бедрах и под коленями видны сосудистые звездочки. Она растерянно озирается, потом пожимает плечами, и по этому движению я догадываюсь, что она восклицает: «Ага!» – после чего подбирает с каноэ предписанные ей доктором солнечные очки, которые там оставила. Я уже сотню раз видела эту сцену, но сегодня мама кажется какой-то другой. Постаревшей. И от этого мне становится грустно. В маме есть какая-то константа. Она умеет вывести из себя, но обладает большим чувством собственного достоинства. Иногда она напоминает мне Маргарет Дюмон из фильмов братьев Марксов. И это достоинство не напускное, а естественное. Надо было ее дождаться, прежде чем приступить к еде.

– Не передадите мне тост или вы уже и их все слопали? – говорит мама, заходя на веранду и притягивая к себе кресло.

Питер смотрит на нее из-за газеты.

– Хорошо поплавала, Уоллес?

– Так себе. Опять появилась пузырьчатка. Все из-за этих несносных рыбаков. Притаскивают ее на днищах лодок бог весть откуда.

– И тем не менее выглядишь сегодня ослепительно.

– Пф-ф, – фыркает мама, протягивая руку за тостом. – Лесть тебе не поможет. И уж точно не вернет бекон.

– Тогда я пойду и поджарю еще.

– Твой муж сегодня в непривычно хорошем настроении, – обращается мама ко мне.

– И правда, – говорит Питер.

– Ты, наверное, единственный человек в мире, которому поездка в Мемфис пошла на пользу.

– Я тебя обожаю, Уоллес, – смеется Питер.

Я встаю.

– Сделаю еще бекона. И яичницу. Эта остыла.

– Боже, не надо! – восклицает мама. – И испачкаешь еще больше посуды! Там есть хоть одна кастрюля, которую вы не использовали?

– Яичницу или отварить всмятку? – Я уже снова ее ненавижу. – Джек, убери со стола и принеси бабушке джем.

– Мэдди, сходи принеси Уоллес джем, – бубнит Джек, не поднимая глаз. Мама всегда настаивала, чтобы внуки звали ее по имени. «Я не готова становиться бабушкой, – заявила она, когда Джек еще даже не умел говорить. – И уж точно не жди, что я буду с ним сидеть».

Мэдди не обращает на Джека внимания.

– Але, гараж! – Я упираю руки в боки.

– Ты же уже встала, – говорит мне Джек. – Сама и принеси.

Я задерживаю дыхание на десять секунд, чтобы не взорваться. Представляю, что я под водой и разглядываю рыбу сквозь зеленоватую муть. Закрываю глаза. Я Пегги. Я выбираю тишину камышей.

Питер снова закуривает.

– Джек, делай, что тебе говорят. Хватит придуриваться.

– Да, Джек, – соглашается мама. – Ты ведешь себя, как последняя сволочь. Не подобает так себя вести.

1956 год. Гватемала

Бабушка Нанетта переехала в Центральную Америку после того, как ее оставил третий муж. Она наконец развелась с чудовишным Джимом, но не могла выжить в этом мире без поддержки мужчины. Ее спасательным кругом стал Винс Коркоран – миллионер, что в те времена еще кое-что значило. Винс сколотил состояние на импорте и экспорте фруктов и кофе. Он не мог похвастаться внешностью, но был по-настоящему хорошим человеком – великодушным, добрым к детям, страстно влюбленным в их мать. Она вышла за него из-за денег. Ей был невыносим запах у него изо рта, и когда они занимались сексом, с его лба ей на лицо падали крупные капли пота. Ей это казалось омерзительным. Она умирала от стыда за то, что унизилась до замужества с торговцем бананами, но благодаря ему у нее были дом в Грамерси и кабриолет «Роллс-Ройс». Винс развелся с ней, когда прочитал все это в ее дневнике – по крайней мере, такова версия, которую я слышала. Все, что досталось бабушке при разводе, это машина, небольшое месячное содержание и огромная вилла в Гватемале, которую она даже ни разу не видела. Винс выиграл виллу в покер у коллеги несколько лет назад. И вот Нанетте, одинокой женщине, трижды разведенной в тридцатитрехлетнем возрасте, пришлось оставить светскую жизнь Нью-Йорка позади: она продала свои меха, собрала кожаные чемоданы, посадила двенадцатилетнюю Уоллес с десятилетним Остином в «Роллс-Ройс» и укатила в далекую долину на окраине Антигуа, красивого испанского колониального городка, расположенного в тени вулканов.

Каса-Наранхаль³ оказалась ветхим, заповоленным игуанами поместьем. На его территории раскинулись сады, где росли лаймы, апельсины и авокадо. По весне лавандовым фейерверком распускалась жакаранда. Гроздья бананов тяжело висели на дребезжащих ветках. В сезон дождей вода в реке поднималась и выходила из берегов. Поместье было огорожено стеной, обе-

³ Оранжевый дом (исп.).

регающей от любопытных взглядов местных крестьян. Старый беззубый дон Эзекиль охранял массивные деревянные ворота. Обычно он сидел в тени глинобитной хижины и ел бобы с лезвия ножа. Мама любила сидеть рядом с ним на твердом земляном полу и смотреть, как он ест.

К поместью прилагались небольшой штат прислуги, повариха и три лошади, которые свободно разгуливали по территории. Красивый темноволосый садовник, весь в белом, собирал на завтрак мангостаны, прогонял с лужаек броненосцев и выуживал толстых червей из мутного бассейна. Бабушка все дни проводила, запершись в спальне, преисполненная ужаса перед незнакомым миром, который спас ее, неспособная поговорить ни с кем, кроме своих детей. Ее спальня располагалась на верхнем этаже восьмиугольной башенки, увитой бугенвиллией. А прямо под ней находилась парадная гостиная с высоким потолком и массивными дверями, из которых открывался прекрасный вид. Днем присутствие матери в жизни детей заключалось лишь в звуке ее шагов по плиточному полу над их головами.

Колоннада соединяла гостиную с кухней, где кухарка каждое утро готовила начинку для тортилий и сальсу из зеленых томатов. Между колон висели позолоченные клетки с пестрыми попугаями. Уоллес с Остином ели одни за длинным обеденным столом и кормили птиц кусочками своих жареных бананов, а попугаи болтали с ними по-испански. Мама всегда утверждала, что именно так она и выучила этот язык. Ее первыми словами были: «*Nuevos revueltos? Nuevos revueltos?*»⁴

Три месяца дети не ходили в школу. Бабушка Нанетта понятия не имела, как это организовать. (Мама обожает рассказывать мне эту историю, когда я переживаю за образование своих детей. «Не будь такой узколобой, Элла, – говорит она. – Тебе это не идет. Оставь правила для заурядных людей». Позиция, основанная преимущественно на том, что она сама с трудом умеет считать, о чем мне нравится ей напоминать).

Остин боялся выходить за пределы поместья, но мама часто гуляла в одиночестве со старым фотоаппаратом, который ей подарил отец, – фотографировала белых быков в пустых полях, раздувшихся от голода диких лошадей в руслах высохших рек, прячущихся в тени поленницы скорпионов, брата, попивающего лимонад у бассейна. Ее любимым местом было кладбище за пределами деревни. Ей нравились запертые Мадонны, душистые охапки цветов, которые приносили местные, надгробные памятники, покрытые розовой штукатуркой и похожие на игрушечные соборы, разноцветные склепы, увешанные бумажными цветами: оранжевые, бирюзовые, лимонно-желтые – это зависело от любимого цвета покойного. Она приходила на кладбище почитать, свернувшись в тени надгробия, чувствуя умиротворяющее воздействие мертвых душ.

После обеда мама обычно садилась на любимую лошадь и ехала через долину, а потом вверх по крутому холму в Антигуа. Там она привязывала лошадь к столбу и гуляла по мощеным улочкам, осматривала руины старинных церквей и монастырей, разрушенных землетрясениями, все еще разбросанные по городу. Ей нравились крошечные талисманы, которые продавали старухи на главной площади, в виде отрубленных рук и ног, глаз, легких, птиц, сердец, которые вешались на серебряные цепочки. А под конец она заходила в собор и зажигала свечку, ни о чем не молясь.

Как-то вечером, когда она спускалась обратно в долину по крутой тропе, сужавшейся между двух валунов, дорогу ей преградил вышедший из-за камней мужчина. Он схватил поводья ее лошади и велел ей слезать. Положил руку на мачете, потер свой пах. Мама сидела, онемев от страха. Хватит, подумала она. И, ударив лошадь пяткой в бок, понеслась прямо на незнакомца. По ее словам, она до сих пор помнит, как хрустнула его нога и как хлопнуло копыто в животе. Тем вечером, пока они ужинали, она рассказала матери за супом из индейки о том, что сделала.

⁴ Яичница-болтуня (*исп.*).

– Надеюсь, ты его убила, – сказала Нанетта, макая в суп тортилью. – Но Уоллес, дорогая, – прибавила она, – девочкам не подобает так себя вести.

10:15

Потрясение от того, что бабушка назвала его сволочью, побудило Джека встать с дивана. Надо тоже как-нибудь попробовать, но, скорее всего, это приведет только к ору, после которого я зальюсь слезами, а Джек испытает подростковый триумф. Мне не хватает маминой надменности.

Мой мобильный вибрирует. Питер тянется через стол и успевает взять его раньше меня.

– Тебе пишет Джонас. – Он открывает сообщение.

Блин, блин, блин, блин. У меня останавливается сердце.

– Они хотят встретиться на пляже. В одиннадцать. Они возьмут сэндвичи.

Спасибо тебе, Господи.

– У меня неприятное ощущение, что я договорился об этом с Джиной вчера, прежде чем вырубиться, – говорит Питер.

– Мы правда хотим торчать несколько часов на пляже? Я бы лучше повалилась в гамаке.

– Не хочу показаться грубым. Джина может рассердиться.

– Она не будет возражать. У нас у всех похмелье, – отзываюсь я, но мои слова звучат неискренне даже в моих собственных ушах.

Питер допивает кофе.

– Никогда не перестану удивляться. Джонас – замечательный художник. Успешный. Выглядит, как телезвезда. Он мог бы жениться хоть на самой Софи Лорен. Мне кажется, он сошелся с Джиной, только чтобы позлить мать.

– Достойная причина, – вставляет мама.

Питер смеется. Он обожает, когда она отпускает ядовитые замечания.

– Хватит вам уже, – говорю я.

– Так что, зайчики мои? Хотите съездить на пляж? – спрашивает Питер.

– Когда отлив? – интересуется Мэдди.

Питер переворачивает местную газету и ведет пальцем по расписанию приливов и отливов.

– В 13:23.

– А можно мы возьмем доски? – спрашивает Финн.

– Можно нам взять доски, – поправляет его мама.

– Я не поеду, – говорит Джек. – Мы встречаемся с Сэмом в гоночном клубе.

– Как ты собираешься туда добраться? – спрашиваю я.

– Возьму твою машину.

– Ни за что. У тебя есть велосипед.

– Издеваешься? Это в двадцати пяти километрах отсюда.

– Последний раз, когда ты взял мою машину, ты забыл заправиться, и у меня чуть не закончился бензин. Я еле-еле доехала до заправки.

– Но мы уже договорились. Он будет ждать.

– Напиши ему. Скажи, что планы изменились.

– Мам!

– Конец дискуссии.

Мой телефон снова вибрирует. На этот раз я успеваю первой. «Так что по поводу пляжа?» – пишет Джонас. Я чувствую его на той стороне, чувствую, как он держит телефон, касается меня сквозь него, печатает, каждое слово – тайное послание мне.

– Нужно ответить Джонасу, Пит. Что мне ему сказать?

– Скажи, в половину двенадцатого.

Джек идет в гостиную и берет со стола мою сумку. Я смотрю, как он роется в ней, вытаскивает ключи от машины.

– Что ты делаешь? – спрашиваю я.

– Верну с полным баком. Обещаю.

– А ну-ка дай сюда. – Я протягиваю руку за ключами. – Либо едешь с нами на пляж, либо добираешься до клуба на велосипеде, и точка.

– Зачем ты это делаешь? Ты как будто нарочно стараешься испортить мне жизнь. – Джек бросает ключи на пол и распахивает дверь. – Не понимаю, почему ты не разведешься с этой сукой! – кричит он через плечо, вылетая на улицу.

– Хороший вопрос, – со смехом отзывается Питер.

– Пит, ты издеваешься?

– Расслабься. Он же подросток. Ему положено грубить матери. Это часть процесса сепарации.

Я вся ошетиливаюсь. Ничто так не напрягает, как когда тебе говорят расслабиться.

– Грубить? Он назвал меня сукой. А твой смех его только поощряет.

– Хочешь сказать, это я виноват? – вздергивает бровь Питер.

– Конечно, нет, – бросаю я с раздражением. – Но он равняется на тебя.

Питер встает.

– Съезжу в город за сигаретами.

– Мы не закончили разговор.

– Нужно еще что-то купить? – Его голос холоден как лед.

– Бляха-муха, Питер!

Мэдди и Финн замирают, точно зверушки на водопое, наблюдающие, как комодский варан подкрадывается к буйволу. Они не привыкли видеть отца таким сердитым. Питер редко выходит из себя. Обычно он все воспринимает со смехом. Но сейчас смотрит на меня прищурившись, словно чувствует, что молекулы вокруг меня вибрируют на другой волне – словно поймал меня за преступлением, только не понимает, каким.

– Не мог бы ты захватить сливок? – кричит мама с кухни, откуда прислушивается к разговору, делая вид, что подогревает кофе. Я слышу у себя в голове ее голос, который говорит: «Веди себя в духе Боттичелли». Благоразумная часть меня знает, что она права: нужно пойти на попятную. Все-таки я вчера трахнулась в кустах со своим самым давним другом. А Питер всего лишь посмеялся над тем, как наш сын-подросток хамит мне, что происходит ежедневно. Но угроза в его голосе подстегивает меня.

– Не переводи все на себя, Питер.

– Это я перевожу все на себя? Ты уверена, что хочешь продолжить этот разговор, Элинор?

Завтрак подкатывает к горлу. Внезапная паника. Я оглядываюсь на Мэдди с Финном на диване, на испуганное выражение их лиц. На их невинность. Беспокойство. На то, что я вчера сделала. На ужасную ошибку, которая навсегда останется со мной.

– Прости, – говорю я. Потом, затаив дыхание, жду, что последует.

1972 год. Август, Коннектикут

В конце лета в сельской местности Коннектикута находится невмоготу. К восьми утра воздух уже как в парилке из-за влажности, удаленности от моря и бесконечной удушающей зелени. После обеда мне нравится прятаться в тени дедушкиного кукурузного поля, перебежать с одного края на другой под легкими ударами ленивых початков, лежать на темной полоске вспаханной земли в укромном месте между рядами, слушая тихий шелест и наблюдая, как муравьи-солдаты тащат свою тяжелую ношу через борозды. Ближе к вечеру откуда не возьмись

налетает рой мошкары, и нам приходится прятаться в доме, пока они снова не исчезают в тени кислой сливы.

Каждый вечер, проведенный на дедушкиной ферме, мы ждем, когда станет прохладнее, чтобы прогуляться после ужина. Днем асфальт на дороге плавится от жары. Но вечером по нему приятно ходить, совсем как по зефиркам: он мягкий, но не липкий, и от него приятно пахнет лавой. Дедушка Уильям, папин отец, берет с собой трость из орехового дерева, трубку и кисет табаку, который кладет в карман брюк. Мы вместе идем мимо кукурузного поля, мимо старого кладбища через дорогу от дома, белой церквушки с темными окнами и дощатым пасторским домиком с задернутыми кружевными занавесками, сквозь которые просачивается свет ночника. Поднимаемся на холм, с которого слышится звяканье овечьих колокольчиков, доносящееся из сумрачной низины, где расположена соседская ферма.

В наших с Анной карманах кубики сахара, и мы бежим, торопимся покормить с ладони пегого коня Стрейтов. Он ждет на краю поля, по брюхо в крапиве; его теплые ноздри раздуваются, почуяв наш запах. Анна чешет его между глаз, отчего он фыркает и бьет ногой. К нашему возвращению у бабушки Миртл всегда наготове сидр и домашнее сахарное печенье. «Как бы мне хотелось, чтобы вы могли остаться здесь навсегда, – говорит она – развод вредит детям. Я всегда восхищалась вашей матерью, – произносит она. – Уоллес – очень привлекательная женщина».

Рядом с церковью есть небольшая детская площадка для учеников воскресной школы – с горкой и качелями, – но мы с Анной предпочитаем играть на кладбище с его большими тенистыми деревьями и постриженными лужайками. Бесконечные ряды надгробий идеально подходят для прятков. Наше любимое место – могила самоубийцы. Она лежит особняком, на склоне холма. Самоубийц нельзя хоронить вместе с остальными, потому что они согрешили, объяснила нам бабушка Миртл. На могиле нашего – высокое каменное надгробие, гораздо выше меня, а по бокам от него по кипарису. Их посадила вдова покойного, сказала бабушка. «Сначала это были совсем маленькие кустики. Но это было уже очень давно. Ваш дедушка помог вырыть ямки под них. После этого она переехала в Нью-Хейвен. Когда Анна спросила, как самоубийца умер, бабушка Миртл ответила: «Его зарубил ваш дедушка».

Сбоку от могилы широкие мраморные ступеньки. Для цветов, сказала бабушка, но она не слышала, чтобы кто-нибудь когда-нибудь навещал покойного. В знойные дни нам с Анной нравится сидеть здесь, в прохладной тени надгробия, где нас не видно с дороги. Мы стали делать бумажных кукол. Мы рисуем их на бумаге, а потом вырезаем. Анна всегда делает лица и прически: хвостики, афро, каре, косички, как у Пеппи Длинныйчулок. Мы вырезаем крохотную, раскрашенную мелками одежду из квадратиков, потом прикладываем к куклам и загибаем края: брюки-клеш в фиолетовую полоску, кухонные передники, кожаные куртки, белые облегающие сапоги, длинные юбки, галстуки. Бикини. «У каждой куклы должен быть свой гардероб», – важно заявляет Анна, осторожно вырезая микроскопическую сумочку.

Мы как раз сидим на ступеньках у могилы, когда слышим, как на гравиевую дорожку у нашего дома сворачивает машина.

– Он здесь! – говорит Анна.

Папа приезжает на целую неделю. Мы не видели его уже вечность, он уезжал по работе. Я скучаю по своим зайчатам, повторял он, когда бабушка давала нам поговорить с ним по телефону. Не может дождаться, когда нас увидит. Свозит нас на ярмарку и на озеро. У него для нас сюрприз. Возможно, мы его не узнаем, говорил он. Он отрастил усы.

Мы берем кукол и несемся вниз с холма, зовя его, сгорая от нетерпения увидеть сюрприз. Папа выходит из машины, которая стоит у дома. Дверь переднего сиденья открывается.

11:00

После нашей ссоры с Питером его машина с ревом уносится, а Финн с Мэдди возвращаются к своим книжкам и гаджетам, как морские птицы после бури.

– Не возражаете, если я втиснусь, пупсики?

Они двигаются, не поднимая головы.

– Хочу еще раз вас потискать.

– Мам! – восклицает Мэдди, раздраженная, что к ней лезут.

Я откидываюсь на спинку дивана и закрываю глаза, преисполненная благодарности за знакомый запах детей, их яичное дыхание, за временную передышку. Джек все еще дуется в своем домике, не желая выходить. Вполне в его стиле. Джек был упертым еще в утробе. Сколько бы рыбьего жира я ни пила, он отказывался покидать свое безопасное влажное гнездышко. И наконец согласился вылезти на две недели позже срока, во время нескончаемых мучительных родов. Я помню, как в какой-то момент не сомневалась, что умру на родильном ложе. А на следующее утро уверилась, что ребенок внутри меня погиб, хотя доктор велел прикрепить ко мне семнадцать мониторов, и они все пищали, передавая ровное сердцебиение Джека. Я была в ужасе от мысли, что потеряла существо, которое люблю сильнее всех в мире, еще до того, как мне будет позволено его любить. Но в конце концов он вышел, розовый и орущий, с длинными перепончатыми ступнями, весь сморщенный, мигающий рыбьими глазами. Создание воды. Первобытное. Вытертое и укутанное в голубое одеяльце. Переданное мне. Мягкость, завернутая в мягкость, у меня на руках, одновременно внутри меня и снаружи.

Когда медсестры унесли Джека, чтобы дать мне отдохнуть, я отослала Питера домой. Мы оба много часов провели без сна. А потом я проснулась в полумраке. Я слышала, как рядом с моей головой сопит Джек, как он тихонько попискивает во сне. Медсестры прикатали его обратно, пока я спала. Я вытащила его из кроватки и попыталась приложить к груди, понятия не имея, как это делается, чувствуя себя самозванкой, притворяющейся настоящей матерью. Я плакала, когда мы пытались соединиться. Счастье и горечь. Внутри и снаружи.

В дверь палаты постучали. Медсестра, подумала я с облегчением. Но на пороге оказался Джонас. Джонас, с которым я не общалась вот уже четыре года. Который с болью и гневом ушел из моей жизни, когда я вышла замуж за Питера. Который теперь был женат на Джине. Джонас, мой самый давний друг, стоял в дверях с огромным букетом белых пионов в коричневой бумаге, глядя, как я лью слезы над новорожденным сыном.

Он подошел к кровати, осторожно взял у меня Джека, не спрашивая разрешения, зная, что оно ему не нужно. Отодвинул голубое одеяльце от мягкой щеки Джека, поцеловал его в нос и сказал:

– Мне кажется или она правда похожа на мальчика?

– Иди к черту, – улыбнулась я. – Не смей меня. Все болит.

– В промежности? – спросил он озабоченно.

– Боже, – засмеялась я сквозь слезы. Счастье и утрата.

Сейчас я представляю, как Джек лежит на кровати, скрестив руки за головой, с помощью наушников отгородившись от мира, и думает, стоит ли ему простить меня, – гадает, прощу ли я его. «Да и да!» – хочется мне закричать ему. Нет ничего, что нельзя было бы простить, для людей, которые любят друг друга. Но едва эта мысль возникает у меня в голове, как я понимаю, что это неправда.

Случайно залетевшая на веранду муха не может выбраться наружу. Она, жужжа, бьется о сетку, скребется лапками и крыльями о металлические нити. Периодически замирает, чтобы поразмыслить, и тогда на веранде воцаряется тишина, которую нарушают только шелест страниц и тихий звук, с которым лопается слюна Финна, сосредоточенного на игре. На маленьком общественном пляже на противоположном берегу пруда люди уже застолбили участки песка на день и выкладывают на хлопковые скатерти еду, чтобы не дать другим занять это место. Не

надо было мне поддаваться на уговоры Питера встретиться с Джономасом и Джинной на пляже. Не могу представить, как увижу Джонаса в ярком свете дня, как буду есть приготовленные Джинной сэндвичи с тунцом и фальшиво улыбаться, вспоминая вчерашний вечер. Нет ни одной причины, по которой я должна поехать. Это Питер договорился встретиться. Он может взять детей. Никому не будет дела, что меня нет. Кроме меня. Потому что тогда все они увидят Джоонаса, а я – нет. Они смогут положить свои полотенца рядом с его на горячем песке. При мысли о том, что я его не увижу, меня охватывает мучительное желание прикоснуться к нему, дотронуться до его руки в воде, голод. Одержимость. Как у тех, кто слышит пение сирен. «Сирена с пенисом», – думаю я и начинаю хохотать.

– Что смешного? – спрашивает Мэдди.

– Ничего. – Я осекаюсь. – Ничего смешного.

– Ты ведешь себя странно, мам, – говорит она, возвращаясь к книге. – Смеешься без причины. Как клоун-маньяк.

Она расчесывает комариный укусы на лодыжке.

– Чем больше чешешь, тем сильнее чешется.

Дети все еще в пижамах. На рукаве Финна – засохший свечной воск, попавший на него вчера, когда они с Мэдди пришли пожелать спокойной ночи пьяным взрослым.

– Мы слышали, как вы поете, – сказал Финн, заходя через сетчатую дверь с лукавым выражением лица, говорившим: «Знаю, что должен быть в постели, но вот он я».

– Господи, вы уже давным-давно должны спать, – сказала я.

– Вы слишком шумите, – откликнулась Мэдди. – Джек спит. Отрубился.

– Залезай, – сказала я, затаскивая Финна на колени. – Только на пять минут.

Он нагнулся содрать со свечи сталактит застывшего воска. Несколько капель упало ему на рукав.

– Можно я задую свечи?

– Нет, нельзя.

– Вы нас не проводите? Я что-то слышал в кустах. Может быть, там волк.

– Нет там никаких волков, дурак, – сказала Мэдди. – Пойду налью себе молока.

Финн слез с моих коленей и свернулся клубочком на диване рядом с Питером, который продолжал разговаривать с Джинной, поглаживая Финна по спине, как будто тот был котом. На другой стороне стола крестный отец Анны Джон Диксон и Памела, жена дедушки, спорили с матерью Джоонаса из-за гнездовой куликов.

– Это наш пляж, – говорила Памела. – По какому праву парковая служба его огородила?

– Не могу не согласиться. Просто птицам на смех, – сказал Диксон, хохоча над собственным каламбуром.

– Пляж принадлежит матери-природе, – ответила мама Джоонаса. – Вас действительно больше волнует, куда положить полотенце, чем возможное вымирание целого вида?

– Не откроете мне дверь? – Мэдди вышла из кладовки, осторожно неся два стакана молока.

Питер поднялся и, нетвердо держась на ногах, открыл дверь веранды, после чего вздохнул дочери волосы.

– Папочка! Я же пролью, – засмеялась Мэдди, проливая молоко на пол.

Финн, встав на четвереньки, вылакал лужицу с пола.

– Я – кот, – заявил он.

– Фу! – сказала Мэдди и послала мне воздушный поцелуй. – Спокойной ночи, мама. Люблю тебя. И всем остальным спокойной ночи.

– Спокойной ночи, лапоньки, – ответил Питер, ложась обратно на диван. – И больше чтобы вас тут не было.

Я смотрела, как Джонас отдирает застывший воск, совсем как Финн только что. Потом рассеянно мнет его. Сначала получился шарик, потом лебедь, потом черепаха, потом кубик, потом сердце – словно пальцы Джонаса выражали его мысли посредством пластилинового мультика. Внезапно мне вспомнилось, что мы с Джонасом впервые встретились, когда он был в возрасте Финна. Милым маленьким мальчиком. Невозможно представить, что и мой лохматый сынишка когда-нибудь станет ураганом в чьей-то жизни. Джонас поднимает глаза и видит, что я смотрю на него.

– Балуешь ты детей, – заметила мама, когда они скрылись в темноте. – В мои времена детям полагалось вести себя так, чтобы их было видно, но не слышно.

– Жаль, что это правило больше к тебе не относится, Уоллес, – отозвался Питер.

– Твой муж – сущий ужас, – довольно сказала мама. – Не знаю, как ты его терпишь столько лет.

– Слава богу, любовь слепа. Или, по крайней мере, моя жена, – засмеялся Питер. – В этом секрет моего счастья.

– В мои времена мы просто разводились и женились заново, – заявила мама. – Это гораздо проще. Даже как-то омолаживает. Как покупка новой одежды.

– А мне помнится, что это было совсем не так, – сказала я. – И если бы Анна была здесь, она стопроцентно бы со мной согласилась.

– Ой, хватит, – отмахнулась мама. – Ты выросла совершенно нормальной. Но кто знает, что бы из тебя вышло, если бы мы с твоим отцом не развелись. Может быть, ты выросла бы счастливой сентиментальной идиоткой. Стала администраторшей в отеле. Развод детям на пользу. – Поднявшись, она стала собирать вилки. – Несчастные люди всегда интереснее.

Я почувствовала, как внутри меня разгорается привычный мятежный порыв, но Джонас придвинулся ко мне и прошептал:

– Не обращай внимания. Когда выпьет, она всегда говорит то, что на самом деле не думает. Ты же знаешь.

Я кивнула, налила себе граппы и передала ему бутылку. Наши пальцы соприкоснулись, когда он взял ее у меня, чтобы налить себе.

– Предлагаю тост. – Он поднял бокал.

– За что пьем? – спросила я, стучаясь бокалами.

– За слепую любовь. – Его глаза не отрывались от моих.

Выждав несколько минут, я вышла из-за стола.

Мама стояла у раковины, спиной ко мне.

– Мне не помешала бы помощь с посудой, Элинор. Горячая вода опять отказывается нагреваться.

– Подожди минутку. Я иду в туалет.

– Пописай в кустах. Я всегда так делаю.

Я выскользнула за дверь на кухне и стала ждать в тени, гадая, правильно ли я все поняла и как я себя буду чувствовать, если ошиблась и останусь стоять здесь, как жалкая шестнадцатилетняя школьница. Дверь веранды открылась, на песчаной дорожке зазвучали шаги. Джонас остановился, огляделся в темноте, нашел меня. Мы стояли там под плеск воды и громкое кваканье лягушек.

– Меня ждешь, Элла?

– Тс-с-с. – Я прикладываю пальцы к его губам. Из дома доносится приглушенное пение. Кажется, кто-то поставил пластинку.

– Повернись, – прошептал он, задирая мне юбку. – Положи руки на стену.

– Хочешь меня арестовать?

– Да, – ответил он.

– Быстрее!

– Мам!

Я чувствую, как меня тянут за рубашку.

– Мам! Ты вообще слушаешь? – говорит Мэдди. – Можно мы пойдем поныряем или нет?

– Вчера мы нашли рыбе гнездо, – сообщает Финн. – Там может быть икра.

– Ну? Можно? – повторяет Мэдди. – Мам!

Я мотаю головой, пытаюсь взять себя в руки.

– Маски и ласты в первом домике, – удается произнести мне. Я чувствую себя грязной, окисленной и отчаянно желаю очиститься изнутри. Мое сердце разбито. Потому что я знаю, что радиация уже проникла сквозь брешь в защитном костюме моего тела, и не уверена, что смогу выжить.

1973 год. Май, Брайклифф, Нью-Йорк

Чудесное весеннее утро. День папиной свадьбы. На мне кружевное платье, лакированные кожаные туфли и белые гольфы до колен. Мне шесть лет. Папа женится на своей девушке Джоанне. Джоанна – популярная писательница, «настоящая находка», как говорит папа, когда знакомит нас с ней.

– Нет ничего привлекательнее сильной женщины, – рассказывает он. От ее волос пахнет шампунем.

– Просто вашему папе нравится, когда им помыкают, – смеется Джоанна. А потом они целуются прямо у нас на глазах.

Джоанне всего двадцать пять. «Мы могли бы быть сестренками!» – говорит она Анне. Она хорошенькая, крепко сбитая, и у нее пальто из овечьей кожи. Меня беспокоит, как же овечка будет жить без кожи. Они с папой перебрались в пригород. Папа каждый день ездит в город на работу, но мы все равно теперь редко с ним видимся.

Джоанна ездит на новом красном «Мустанге». Мама заявляет, что красный цвет – безвкусица, когда я ей об этом рассказываю после того, как впервые вижу машину. Нужно было выбрать синий. Потом фальшиво смеется. Синий цвет благороднее, говорю я. Ты даже не знаешь, что это означает, вклинивается Анна и больно щиплет меня за руку.

Джоанне нравится Анна, но мы с Джоанной «просто слишком разные», говорит она Анне, которая все пересказывает мне. Иногда Джоанна приезжает в город и устраивает особый «девчачий день» для них с Анной: они вместе разглядывают игрушки в дорогих магазинах, обедают в кафе, катаются на коньках. Она покупает Анне сумку от «Маримекко», цвета апельсина и фуксии, с блестящими серебряными застежками, похожими на монеты. Джоанна без ума от густых темно-каштановых волос Анны и учит ее расчесывать их по десять минут в день, чтобы они блестели.

Каждый вечер, ровно в шесть часов, Джоанна выпивает виски с содовой, пока папа готовит ужин и открывает вино, чтобы оно подышало. Ему нравится добавлять в еду лук-шалот, и он разрешает мне сидеть на высоком табурете на кухне, чтобы я помогла ему почистить морковь. Он готовит в большом черном чугунном сотейнике, который потом приходится отмывать маслом вместо жидкости для мытья посуды. Это испортило бы сотейник, говорит он, а масло его лечит. «Лечит от чего?» – спрашиваю я.

Джоанне не нравится, что папе приходится платить алименты на детей. Каждый раз, когда она привозит нас обратно на вокзал в воскресенье вечером, она дает нам сложенный листок бумаги – список того, что она вычла из алиментов: «8 кусков хлеба, 4 ч. ложки арахисового масла, 6 йогуртов, 2 замороженных пирога с курицей, солсберийский стейк...»

Теперь я смотрю, как отец идет по проходу в церкви. Рядом со мной сидит бабушка Миртл с прямой, как палка, спиной, поджатыми губами и сбившейся шляпкой-таблеткой. Ей тоже не нравится Джоанна. В последний раз, когда Джоанна с папой отвезли нас к дедушке с бабушкой, наши чемоданы были полны грязного белья. «Эта женщина просто неряха, – сказала бабушка. – И ленивая, как кошка. Пусть ваш папа и закончил с отличием Йельский университет, но когда дело доходит до того, что ниже пояса, его мозг не работает. Как он мог ее выбрать? Нужно проверить вас на клещей».

Я смотрю на складки белого кружева у себя на подоле, ковыряю засохшую ранку на коленке. Мои ноги покрыты коростой, оттого что я упала на жесткий бетон с лестницы на детской площадке. Бабушка Миртл берет меня за руку и ободряюще пожимает. Мне нравится прикосновение ее потертого серебряного обручального кольца к моим пальцам. Она кладет наши руки мне на колени. Я провожу пальцем по тонким голубым венам у нее на руке. Я так сильно ее люблю.

Анна в темно-синем. Она стала пухленькой, и Джоанна решила, что этот цвет ей больше пойдет. Я нервно постукиваю ногой по полу. Анна пинает меня в голень. Мне велено не ерзать. На алтарь падает красный луч. Я смотрю, откуда он исходит – из витражного окна под потолком. Это кровь Христова, струящаяся из открытой раны. Папа идет мимо меня к священнику. Я выбегаю в проход и бросаюсь ему под ноги, цепляюсь за него и не отпускаю. Он пытается освободиться, не переставая улыбаться гостям, но я держу крепко. Я – ураган белого кружева, слез и соплей. Он кое-как движется дальше, делая вид, что не замечает повисшего у него на ногах ребенка. Я та рыбка, что питается кожей.

Мы с папой приближаемся к алтарю. Органист начинает играть свадебный марш. Гости встают, несколько неуверенно. Теперь по проходу плывет Джоанна в большой воздушной фате, скрывающей ее ярость. Она выбрала атласное платье-мини, из-под которого торчат ее толстые ноги. Они похожи на сардельки, втиснутые в крохотные туфельки. Она перешагивает через меня, берет папу за руки, кивает священнику. Пока они произносят свои обеты, я лежу на полу, свернувшись вокруг его лодыжек. «Почему она не надела трусы?» – думаю я, когда они говорят «Да».

1973 год. Тарритаун, Нью-Йорк

Сегодня «выходной у папы». Он собирался часто брать нас к себе по выходным, но сегодня мы видимся с ним в первый раз за месяц. Они с Джоанной постоянно в гостях. У Джоанны слишком много друзей, и все они хотят познакомиться с ее стариком, рассказывает он нам. «Каким еще стариком? – спрашиваю я. – А мы с ним знакомы?»

У них коричневый дом. С голого дерева во дворе свисает веревка: раньше это были качели. Каменистый кряж за деревом спускается к мутному маленькому пруду. Плавать в нем нельзя, говорит папа, но зимой он замерзнет, и можно будет кататься на коньках. Гостиная узкая и длинная, с огромным окном, которое выходит на «озеро», как его называет Джоанна. «Дом у воды почти невозможно достать», – говорит она. Единственное место в доме, где пол не покрыт мохнатым ковром от стены до стены, это кухня.

Суббота, послеобеденный час. Мы с Анной сидим на кухонном полу и играем в шарики. На улице хмуро, в окна нескончаемо бьет дождь. Я почти выигрываю, когда на кухню, размахивая расческой, влетает Джоанна. Она вытаскивает из расчески волосы и трясет ими у меня перед лицом.

– Ты взяла мою расческу, Элинор. Хотя я сказала тебе, что не разрешаю.

– Ничего я не брала, – отнекиваюсь я, хотя на самом деле брала.

– В этой вашей шикарной новой школе эпидемия вшей. Теперь придется ее кипятить. – Она вне себя от ярости. – Если расческа испортится, я потребую, чтобы ваша мать за нее заплатила. Она из кабаньей щетины!

– Это не я!

– У кого еще светлые волосы? Я не потерплю вранья в этом доме. – Она нагибается и хватается наши шарики.

– Отдай! – кричу я.

Папа возвращается из гаража.

– Ну хватит вам. Не деритесь.

– Не разговаривай со мной, как с ребенком, Генри, – вспыхивает Джоанна.

– Она забрала наши шарики и не хочет отдавать, – жалуясь я.

– Элла взяла расческу Джоанны без разрешения, – ябедничает Анна.

– Неправда! – кричу я.

– Это всего лишь расческа, – говорит папа. – Конечно, Джоанна не против. Я вам рассказывал, что ваша бабушка в школе была чемпионкой по игре в шарики? – Он открывает морозилку и заглядывает внутрь. – Как насчет пирога с курицей на ужин? Мы с Джо идем в гости.

– Не хочу, чтобы ты уходил, – канючу я. – Ты всегда уходишь.

– Мы будем недалеко. И мы нашли отличную девочку, которая посидит с вами.

– Можно мы посмотрим телевизор? – спрашивает Анна.

– Все что захотите.

– Мне здесь не нравится, – говорю я. – Этот дом уродский. Я хочу домой.

– Заткнись, – фыркает Анна. – Хватит все портить.

Я в слезах выбегаю из кухни.

Джоанна у меня за спиной говорит сквозь собственные сердитые слезы:

– Я больше так не могу, Генри. Я не подписывалась быть матерью.

Я бросаюсь на кровать, утыкаюсь лицом в подушку. «Ненавижу ее, ненавижу ее, ненавижу ее», – повторяю я, точно молитву. Когда папа приходит меня утешать, я отворачиваюсь от него, сворачиваюсь, как мокрица.

Он сажает меня к себе на колени и гладит по голове, пока я не перестану плакать.

– Я никуда сегодня не пойду, крольчонок. Все хорошо. Все хорошо.

– Она злая.

– Она не нарочно. Вам обеим тяжело. Джоанна – хорошая женщина. Пожалуйста, дай ей шанс. Ради меня.

Я прижимаюсь к нему и киваю, хотя знаю, что это – ложь.

– Умница.

– Бога ради, Генри! – восклицает Джоанна, когда он объявляет ей, что останется дома с нами. – Мы же договорились со Стрипами несколько недель назад.

– Все будет в порядке. Стрипы все равно скорее твои друзья, чем мои. Шейла приготовит что-нибудь восхитительное. А я так давно не видел девочек.

– Сегодня суббота. Я не собираюсь идти в гости одна.

– Еще лучше. Оставайся дома со мной и девочками. Посмотрим кино, сделаем попкорн.

– Сиделка уже едет. Мы не можем просто взять и отправить ее восвояси. – Она поворачивается к нему спиной и, глядя в зеркало в прихожей, надевает большие круглые золотые серьги. Приглаживает брови и щиплет себя за щеки.

– Мы оплатим ей дорогу. Она поймет.

Я замороженно смотрю на отражение Джоанны в зеркале, вижу, как ее ноздри раздуваются и уменьшаются, раздуваются и уменьшаются. Ее губы сжались от ярости в прямую линию. Когда она ловит мой взгляд, я триумфально улыбаюсь.

Но в конце она побеждает. С тех пор папа, встретив нас на вокзале, сажает в машину и отвозит к родителям Джоанны, которые живут в полчаса езды от него. Каждую неделю нас ждет новое объяснение: у Джоанны критические дни, и она плохо себя чувствует, дом обрабатывают от гнили, их пригласили в гости в Роксбери, и Джоанна считает, что нам там будет скучно, но на следующей неделе мы обязательно остановимся у него, обещает он. У него грустный вид, когда он машет нам на прощание из машины, и я знаю, что это я виновата.

Отец Джоанны, Дуайт Бёрк, известный поэт. У него приятный хриловатый голос, и он выходит к завтраку в костюме. Всегда поднимается к себе в кабинет по утрам с бокалом американского виски. Его жена Нэнси – дородная женщина. Католичка. Она носит с собой четки в кармане передника и спрашивает меня, верю ли я в Бога. Печет круглые белые булочки и называет обед «трапезой». Ее волосы всегда аккуратно причесаны. Они из тех родителей, о которых я знаю только по книгам. Добрые и домашние. Понятия не имею, как они могли воспитать эту ужасную корову.

Младший брат Джоанны Фрэнк все еще живет в родительском доме. Ему пятнадцать. Фрэнк стал для нас сюрпризом. «Божье благословение», – говорит нам Нэнси, когда Анна спрашивает ее, почему Фрэнк настолько младше Джоанны. «Она имеет в виду случайность», – поясняет Фрэнк. Он прыщавый, со светлыми, по-военному постриженными волосами. Когда он наклоняется, его брюки сползают, и показывается полоска между ягодицами.

Бёрки живут в белом трехэтажном кирпичном доме, окруженным дельфиниумом и рядами ароматной пахизандры, с видом на ленту реки Гудзон. Здесь постоянно пахнет дрожжами, и полно шоколадных лабрадоров с именами вроде Кору и Меланхолика. В воскресенье утром мы ходим в церковь.

У нас с Анной есть своя комната рядом с кухней. К ней ведет потайная лестница из чулана для веников в кладовой. «Комната горничной», – называет ее Нэнси. Никто больше не пользуется этой частью дома. Наши ромбовидные окна выходят на крутой серый склон скалы, которая плачет холодной водой из какого-то подземного источника.

Мы с Анной снова друзья. Мы играем в «море колышется» в саду, делаем бумажных кукол, сидя на деревянной лестнице, и читаем, свернувшись в кроватях. Никто нас не тревожит. Никто на нас не кричит. Когда наступает время обеденной трапезы, Нэнси звонит в колокольчик, и мы бежим вниз по лестнице в столовую, где всегда горит огонь, даже в начале лета. Нэнси нам очень рада, говорит она. Она душит нас в объятиях, покрывает поцелуями и перекладывает вещи из наших чемоданов в комод из орехового дерева.

У Фрэнка есть своя комната отдыха в глубине дома, где он выращивает в аквариумах мышей, хомяков и песчанок. Они тарачатся через комнату на удава Уолдо, который живет среди них в самом большом аквариуме. Вечером, после ужина, Фрэнк заставляет нас смотреть, как он кормит змею крохотными мышатами. Розовенькими. Я умоляю его выпустить меня, но он преграждает дверь. В комнате пахнет кедровой стружкой и страхом.

– Веселитесь там, ребята? – окликает из кухни Нэнси, домывая посуду.

– Мы кормим Уолдо! – кричит в ответ Фрэнк. – Вот возьми, – он сует извивающегося мышонка в руку Анне.

– Я не хочу. – Она пытается вернуть зверька, но Фрэнк держит руки в карманах.

– Если ты не покормишь Уолдо, он останется голодным. Может быть, попытается ночью выбраться из аквариума. Ты знаешь, что даже молодой удав может задушить человека за несколько секунд?

Анна убирает крышку на аквариуме змеи, закрывает глаза и отпускает мышонка. Я смотрю, как он падает в мягкую тополиную стружку. Пять долгих секунд он мигает и оглядывается в облегчении оттого, что жив. Уолдо подползает к нему, потом бросается. Мышонок

исчезает. Все, что от него осталось, это маленький комок, выпирающий из горла Уолдо. Мы смотрим, как мышцы плавными рывками проталкивают комок к желудку.

Фрэнк любит змею, но еще больше он любит своих хомяков. Он разводит их на продажу, чтобы заработать денег на карманные расходы. Они – самое ценное, что у него есть. В один наш приезд Голди, его любимица, сбегает из аквариума. Фрэнк вне себя. Он зовет ее, бегая по лестницам, заглядывая под диваны, снимая книги с полок. Уверенный, что ее съел кто-то из собак, он пинает по ноге самого старого лабрадора, Мэйбл. Та взвизгивает и отходит, прихрамывая.

– Все в порядке? – кричит Нэнси с кухни, где тушится жаркое из говядины.

Фрэнк поворачивается ко мне. Обвиняет меня в том, что я скормила Голди Уолдо.

– Ты думаешь, что я урод, – допытывается он. – Я слышал, как ты это сказала.

Он прижимает меня к стене на лестнице. У него изо рта пахнет молоком и «Читос». Я смотрю на ядрено-оранжевый порошок от кукурузных палочек у него вокруг рта и клянусь, что я этого не делала.

Вечером, когда Нэнси поднимает одеяло Анны, чтобы ее укрыть, на кровать падает безжизненное тело Голди. Ее расплющило между кроватью и стеной. Нэнси берет совок и веник, открывает окно и выбрасывает хомячиху в заросли гортензии.

Фрэнк смотрит с порога. Высокий захлебывающийся звук вырывается из его горла. Его лицо перекашивается, прыщи наливаются темно-красным. Я уверена, что он задыхается. Завороженно смотрю, думая, что сейчас он умрет. Но вместо этого он издает сдавленный всхлип. Мы с Анной в ужасе переглядываемся, а потом разражаемся хохотом. Фрэнк с красным от стыда лицом убегает. Я слышу топот его ног по нашей деревянной лестнице, хлопанье двери вдалеке. Нэнси смотрит в темноту, спиной к нам.

Когда мы в следующий раз сходим с поезда на вокзале, папа говорит нам, что мы проведем выходные с ним и Джоанной. Дуайт с Нэнси решили, что так будет лучше.

6

11:30

В семье моей матери развод – всего лишь слово из шести букв. Как «скучно» или «ошибка». Оба ее родителя вступали в брак трижды. Дедушка Эймори, который построил Бумажный дворец, жил в своем доме на пруду до самой смерти, рыбачил, плавал на каноэ и рубил дрова в походных сапогах, наблюдая, как меняется экосистема пруда. Выискивал кувшинки, выслеживал больших голубых цапель и считал расписных черепах, которые нежились на упавших деревьях, гниющих и сереющих на мелководье. Перед смертью дедушка Эймори завещал дом Памеле, своей третьей и последней жене. Она единственная оказалась достойна этого места, понимала его очарование, почувствовала его душу – приняла культ Пруда. Бумажный дворец дедушка оставил маме. Ее брат Остин, так и оставшийся в Гватемале, не хотел иметь к нему никакого отношения. Но для мамы это было любимое место на земле.

На стене моего кабинета в Нью-Йоркском университете висит мамина фотография, сделанная в Гватемале. Мой кабинет – мечта для искателей кладов: книги падают с полок, стол завален дипломными работами, огрызками карандашей, рефератами по современной литературе, которые надо проверить, и посреди всего этого – унылый кустик авокадо, за которым я вынуждена ухаживать, как какая-то старая дева, потому что Мэдди «сделала» мне его на день рождения, когда ей было шесть. Единственное свободное пространство – это белые стены, совершенно голые, если не считать одной-единственной фотографии. На этом снимке мама сидит верхом на паломиновой лошади. На ней расшитая крестьянская блуза, подвернутые синие джинсы и кожаные мексиканские сандалии, волосы заплетены в длинные косы. Ей пятнадцать лет. У нее за спиной пыльная дорога, по которой идет мальчик в белом, толкая деревянную тачку, и открытые поля, тянущиеся до самых отрогов застывшей лавы у подножия прячущегося в облаках вулкана. Одной рукой мама держится за вытертый до блеска рожок своего ковбойского седла. В другой руке – початок кукурузы. Она улыбается в объектив, расслабленная, счастливая – с выражением внутренней свободы, какого я никогда не видела у нее на лице. У нее ровные белые зубы.

Мама рассказывала, что фото сделал красивый садовник, а мальчик – его сын, через несколько секунд после этого задел лошадь острым краем тачки, та понесла и сбросила маму, из-за чего мама сломала себе руку и два ребра. Больше верхом она не ездила. Следующей осенью мама уехала из Гватемалы в фешенебельную школу-интернат в Новой Англии, где играла в теннис в белой юбке и каждое утро ходила в капеллу. Она никогда не оглядывалась на то, что оставила.

Мне всегда нравилась эта фотография. Она напоминает мне Давида Микеланджело – секунда, застывшая в вечности, мгновение до броска, до того, как все изменится, случайные события, побуждающие нас повернуть направо или налево или просто сесть на пыльной дороге и больше не двигаться. Мальчик со своей тачкой, лошадь, падение, решение мамы уехать из Гватемалы, вернуться в родные леса подарили мне наш пруд.

Я смотрю с веранды, как Мэдди с Финном плещутся на мелководье. Мэдди показывает на кувшинки, рядом с которыми что-то шевелится. Финн отступает, но Мэдди по-матерински берет его за руку.

– Не бойся. Водяные змеи не ядовиты, – доносится до меня ее голос. Они смотрят, как черная голова змеи поворачивает туда-сюда, когда та, извиваясь, ползет через камыши.

– Смотри! Мальки, – говорит Финн, и они вместе с Мэдди исчезают под водой. Ярко-желтые кончики их трубок рисуют на поверхности цифру восемь.

– Никто не видел мои солнечные очки? – спрашивает мама, выходя на веранду из кухни. – Я помню, что оставила их на полке. Наверное, кто-то переложил.

– Вот они, на столе, – говорю я. – Там, где ты их и оставила.

– Схожу к Памеле. Я обещала принести ей кувшинчик молока и два яйца.

– Надо было попросить Питера купить ей продуктов.

– Вот уж нет. Все, у кого есть здравый смысл, понимают, что не стоит приближаться к твоему мужу, когда у него из ушей валит дым. Но только не ты, Элинор, ты подходишь к нему со спичкой и поджигаешь все вокруг. Я удаляюсь со своим молоком и яйцами. Вернусь, когда вы с мужем перестанете вести себя, как детсадовцы, на глазах у отпрысков. Постарайся быть уступчивее, дорогая. Он хороший человек. Благоразумный. Тебе повезло с ним.

– Знаю.

– И прими что-нибудь от похмелья, – говорит мама. – Ты вся зеленая. В холодильнике есть имбирный эль.

Мама всегда была немножко влюблена в Питера. И она права. Он замечательный человек. Могучее дерево. Добрый, но не мямля. Сильный, как полноводная река. Уверенный в своих суждениях, вдумчивый и побуждающий к размышлениям других. С сексуальным британским акцентом. Умеет рассмешить. Обожает меня. Обожает детей. И я обожаю его в ответ, любовью сильной и глубокой, как корни деревьев. Иногда мне хочется порвать его в клочья, но, наверное, так в любом браке. Туалетная бумага может привести к Третьей мировой войне.

Мама исчезает за деревьями в дальнем конце нашего пляжа, с корзинкой яиц в одной руке и кувшином молока – в другой. Три минуты спустя я слышу, как она издает приветственный возглас, выходя из леса на участок дедушки. Пусть он уже много лет как мертв, но это всегда будет его дом. Я слышу, как открывается дверь, раздаются бессвязные крики, смех, и Памела восклицает: «Боже!» Хотя она на десять лет старше мамы, они лучшие подруги. «Она единственный человек в округе, которого я еще могу терпеть, – говорит мама. – Но моим глазам было бы легче, если бы она хоть иногда носила что-нибудь не фиолетовое. А попробовав ее стряпню, можно подумать, что благодаря ей появилось расстройство желудка. Я как-то обнаружила у нее в холодильнике сыр, который превратился в масло. Все говорят, папа умер от старости, но я подозреваю, что она его случайно отравила».

Под шорох песка и гравия к дому подъезжает машина Питера. Я готовлюсь к тому, что последует. Все? Ничего? Что-то среднее? Момент беспомощности. Незнания, чего ожидать. Я слышу, как он идет по тропинке ко мне, и у меня екает в животе. Я поворачиваюсь на диване спиной к затянутой сеткой двери, принимаю невозмутимую позу и беру свою книгу, чтобы он не мог прочесть выражение моего лица. Как в дзюдо. Но он идет мимо веранды к домикам.

– Джек, открывай! – колотит он по двери. – Выходи! Сейчас же!

Я поворачиваюсь и пытаюсь разглядеть лицо Питера с того места, где сижу. Джек выходит и садится рядом с отцом на крылечко. Мне их не слышно, но я вижу, как Питер что-то втолковывает, а Джек слушает его с надутым видом, после чего заливается смехом. Все мое тело расслабляется. Муж и наш долговязый сын встают и идут ко мне. Оба улыбаются.

– Мадам, вы успокоились? – Питер лезет в карман за сигаретами, похлопывает себя в поисках зажигалки. – Я привел вам вашего пристыженного отпрыска. Он понимает, что вел себя по-скотски и никогда больше не должен говорить с матерью в таком тоне. Извинись перед мамой. – Он ерошит Джеку волосы.

– Прости, мам.

– И... – подсказывает Питер.

– И больше никогда не буду так с тобой разговаривать, – говорит Джек.

Питер берет меня за руки и поднимает с дивана.

– Улыбнись, ворчунья. Видишь? Твой сын тебя любит. А теперь на пляж? – Он подходит к двери и кричит Мэдди с Финном: – Эй! Вылезайте из воды! Выезжаем через пять минут!

Они плещут друг в друга и прячутся от брызг под водой, не обращая на него внимания.

– Так можно я возьму машину? – спрашивает Джек.

– Только в своих мечтах, дружище.

– Можете тогда хотя бы высадить меня у дома Сэма?

Не прошло и двух секунд, как Джек вернулся к роли несправедливо ущемленного подростка. По идее я должна была бы возмутиться. Но сейчас, когда мое сердце слетело с оси, его предсказуемое поведение для меня спасательный круг. Я подставляю ему щеку.

– Поцелуй маму.

Он неохотно чмокает, но я знаю, что он меня любит.

Питер смотрит на часы.

– Черт. Ужасно опаздываем. Собирай своих котят, Элла. Я заведу машину. Джек, набери Сэма и скажи, чтобы встретил тебя у поворота через десять минут.

Я кричу Финну и Мэдди, потом иду в ванную. У меня таинственным образом исчез запечатанный пакет со всеми нашими кремами от солнца. Я знаю, что вчера оставляла его в кладовке. Рывком открываю широкий нижний ящик комода, куда мама запикивает все, что валяется не на своем месте и, по ее мнению, портит вид. Конечно же, пакет там, вместе со шлепанцами Мэдди, которые я не могла найти, и мокрыми плавками Питера, они уже пованивают плесенью, как будто их три дня не вытаскивали из стиральной машинки. На дне ящика обнаруживается большой мамин термос в красную клетку, еще с тех времен, когда я была младше Мэдди. Когда-то к нему прилагалась симпатичная бежевая пластиковая кружка, которая аккуратно закручивалась наверху, как крышка. Я вынимаю пробку и принохиваюсь. Прошло, наверное, лет двадцать с тех пор, как мама в последний раз пользовалась этим термосом, но от его твердых пластиковых стенок все еще идет слабый запах застоялого кофе. Я мою его, наполняю водой из-под крана и делаю глоток. У воды легкий металлический привкус от труб. Нужен лед.

Выйдя обратно на тропинку, я на мгновение останавливаюсь, глядя, как мой очаровательный муж выходит из-за угла с тремя досками для бугисерфинга на голове, полотенцами под мышкой и следующими за ним по пятам детьми. Я его не заслуживаю.

– Питер, – зову я.

– Да?

– Люблю тебя.

– Конечно, любишь, дурашка.

7

1974 год. Май, Нью-Йорк

Сезон цветения вишни. Холм за Метрополитеном превратился в море розового. Я бы съела его, если бы могла. Я залезаю на низко свисающие ветки дерева и прячусь в балдахине цветов. Сквозь лепестки мне видны древние иероглифы на Игле Клеопатры.

Мама внизу расстилает на усеянном лепестками склоне клетчатое покрывало, достает из корзинки одноразовую тарелку и вываливает на нее из мешочка очищенные вареные яйца. Потом разворачивает квадратик фольги, в которую насыпала соли с перцем, макает острый конец яйца в смесь и кусает.

– Вкуснотища, – говорит она вслух. Достает из корзинки красный термос, откручивает пластиковую крышку-кружку и наливает себе кофе с молоком.

– Элино, спускайся! Нам скоро пора идти.

Я осторожно слезаю с дерева. Под джемпером я одета в новое трико с колготками, и мне не хочется их порвать. Из парка мы отправимся прямо на мое первое занятие по балету.

– Держи, – мама протягивает мне коричневый бумажный пакет и маленький пакетик молока. – Есть масло, арахисовое масло и ливерная колбаса.

Сегодня суббота, в парке полно народу, но никто больше не удосужился перелезть через камни, чтобы попасть в эту потаенную рощицу. Я нахожу сухое местечко, расстилаю на траве свой кардиган и сажусь рядом с мамой. Она погружена в чтение романа, поэтому мы едим в тишине. Небо у нас над головами пронзительно голубое. Я слышу далекий стук бейсбольного мяча, внезапные радостные выкрики болельщиков. Камни пахнут чистотой и сладостью. Сегодня первый день весны, и они проветриваются на солнце после долгой зимней спячки под покровом снега и собачьего дерьма.

– Я взяла печенье с пеканом, – говорит мама. – Хочешь последнее яйцо?

– Я хочу писать.

– Сходи за камень.

– Не могу.

– Не будь такой неженкой, Элино. Тебе семь лет. Кто вообще на тебя посмотрит?

– Но я в трико и колготках.

– Ну, тогда терпи, пока мы не доберемся до места. – Она заламывает страницу, кладет книгу в сумку и начинает сворачивать наш пикник. – Помоги мне все собрать.

Уроки балета – подарок от папы, нежеланный подарок. Я хотела заниматься гимнастикой, как все остальные девочки у меня в классе. Делать колесо и вставать на мостик. Анна говорит, что я слишком широка в кости для балета. Но хуже всего – я пропустила первый урок, поэтому другие девочки уже ушли вперед.

Мама смотрит на часы.

– 14:25. Надо бежать, иначе мы опоздаем.

Когда мы добираемся до студии мадам Речкиной, остальные девочки уже выстроились у зеркальной стены, их аккуратные маленькие пучки затянуты черной сеточкой. Я задыхаюсь от бега, мои колготки заляпаны грязью.

– Мам, мы слишком опоздали.

– Ерунда.

– Мне надо в туалет.

– Все будет хорошо. – Она открывает дверь студии и слегка подталкивает меня внутрь. – Увидимся через час.

Мадам Речкина улыбается мне, не размыкая губ, и жестом показывает девочкам, чтобы они освободили мне место в центре. Я встаю рядом с ними. Ставлю ноги в первую позицию. Пианист играет менуэт.

– Плие, мадемуазель! – Мадам проходит вдоль ряда и поправляет.

– Плие, encore!⁵ Изящнее руки, пожалуйста!

Я смотрю на девочку впереди и стараюсь повторять за ней.

– À la seconde!⁶ – командует мадам.

Я шире расставляю ноги и сдвигаю колени. На блестящем деревянном полу подо мной разливается большая лужа, пропитывая края моих розовых балетных туфель. Позади меня раздается визг. Музыка останавливается. Я в слезах выбегаю из зала, оставляя за собой на безукоризненно чистом полу мокрые следы, и запираюсь в уборной.

– Мисс Жозефина! – зовет мадам помощницу. – Швабру, s'il vous plaît⁷. Vite, vite!⁸

На следующей неделе мама заставляет меня продолжить занятия.

– Элинор, – говорит она строго, – в нашей семье нет трусов. Нужно смотреть в глаза своему страху. Иначе ты проиграешь битву еще до ее начала.

Я умоляю ее разрешить мне остаться дома с Анной, но она только отмахивается.

– Не глупи. Думаешь, остальные девочки никогда не писались?

– Но не на пол же, – говорит Анна, надрывая живот от хохота.

12:53

Парковка у пляжа пышет от жара. Я вылезая из машины на песок и взвизгиваю.

– Ах ты ж! – Я прыгаю обратно в «Сааб». – Кажется, я сожгла себе подошву.

Я шарю ногами по полу в поисках шлепанцев и нахожу их застрявшими под сиденьем.

– Наденьте носки. Песок горячий, как сковородка. – Я протягиваю Финну пару белых носков, которые достала из сумки. – Мэдди?

– Мне и так нормально. Я в босоножках, – говорит она.

– Обожжешь стопы.

– Мам. – Мэдди смотрит на меня страдальческим взглядом. – Я не собираюсь надевать босоножки с носками. Фу!

– А что не так? – Питер выходит из машины и принимается разгружать багажник. – Сандалии и носки – заграничная форма англичанина.

Дождавшись, когда все выйдут, я опускаю солнцезащитный щиток и смотрюсь в зеркало. Поправляю волосы, щиплю щеки, заново завязываю парео, чтобы оно сидело ниже на бедрах. Чуть дальше от нас я вижу побитый пикап Джонаса.

Питер открывает дверь с моей стороны.

– Иди сюда. – Он берет меня за руку и вытаскивает наружу.

Я достаю с заднего сиденья полотенца и термос с ледяной водой.

– И пожалуйста, будь милой с Джиной, когда она станет выговаривать нам за то, что мы опоздали на час. Никакой стервозной Элинор. Только милая Элинор.

– Я всегда милая. – Я пытаюсь пнуть его по заднице, когда он проходит мимо, но он ухитряется уклониться.

Поднявшись на дюну, мы видим перед собой сотню зонтов. Одноцветных. Полосатых. Синих, белых и красных. Вода чистейшего бирюзового цвета. Никакого красного прилива,

⁵ Еще раз (*фр.*).

⁶ Во вторую (*фр.*).

⁷ Пожалуйста (*фр.*).

⁸ Быстро, быстро (*фр.*).

никаких водорослей. Идеальный день для пляжного отдыха. Как в «Челюстях». Дети метают фрисби, строят замки из песка и выкапывают вокруг них рвы, которые сразу же наполняются водой из-под земли. Юные красотки самоуверенно расхаживают в бикини, делая вид, что не замечают, как за ними наблюдают. Я ищу взглядом Джонаса. Он всегда поворачивает налево.

Питер видит его первым. Они с Джиной установили палатку в бело-желтую полоску. Она похожа на цирковой шатер, закрытый со всех сторон, кроме той, что смотрит на море. Рядом с палаткой стоит Джина и машет нам полотенцем цвета фуксии. Мэдди и Финн сбегают к ней по дюне, Питер – за ними. Я медлю, собираясь с духом перед тем, что последует. Вдруг Питер почувствует, что что-то изменилось между мной и Джонасом? Вдруг Джина вчера заметила, что мы оба вышли одновременно? Я пытаюсь вспомнить, как выглядела комната перед тем, как я выскользнула за дверь. Джонас сидит за столом, откинувшись на стуле, за пределами круга света от свечи. Питер лежит на диване, Джина смеется над какой-то шуткой Диксона, мама наливает граппу в чашки для эспрессо, убирает тарелки, моет в раковине стаканы. Мне точно помнится, что Джина была повернута ко мне спиной. Сейчас Джонас сидит на песке и смотрит на море. Я делаю глубокий вдох. В нашей семье нет трупов.

1976 год. Июль, Бэквуд

Я лежу на синем надувном матрасе. Мои глаза закрыты, лицо подставлено солнцу. Под сомкнутыми веками пляшут в красном мареве черные точки. Я дрейфую, слушая собственное дыхание и позволяя ветру вынести себя на середину пруда. Вокруг никого, кроме меня. Ничего, кроме меня. Идеальный момент. Я свешиваю руку с матраса, разжимаю ладонь, чувствую сопротивление воды, когда она проходит сквозь пальцы. Воображаю, будто я утка. В любую секунду с холодного дна поднимется кусачая черепаха, схватит меня за желтую перепончатую ногу и утащит на глубину. Издалека доносится стук деревянных весел, брошенных на дно каноэ. Анна и ее подруга Пегги переплыли в нем на другую сторону пруда. Оттуда рукой подать до пляжа. Открыв глаза, я различаю крошечные огоньки их ярких оранжевых спасательных жилетов, когда они вытаскивают лодки на берег и исчезают за деревьями.

Мама с ее бойфрендом Лео поехали в город, чтобы встретить его детей на автобусной остановке. Они приезжают к нам в гости на десять дней. Лео – джазовый музыкант из Луизианы. Саксофонист. У него густая черная борода, он часто хохочет. Верит, что физические упражнения – для слабаков. Его любимая еда – креветки. Анна пока не понимает, как к нему относиться, но мне он кажется славным.

Дети Лео, Конрад и Розмари, живут в Мемфисе, со своей матерью. У них сильный южный говор, и они постоянно глотают гласные. Розмари семь лет. Она похожа на мышь. «Незначительная, – говорит про нее Анна. – И пахнет странно». Конраду одиннадцать, на год старше меня. Он низенький и широкий, в толстых круглых очках и с выпученными глазами. Всегда стоит слишком близко. Мы видели их всего один раз, в кафе, когда они приехали навестить отца в Нью-Йорке. Розмари заказала стейк с кровью и говорила о первородном грехе.

– Его бывшая жена хочет, чтобы он сдох, – проронила как-то мама, болтая с подругой по телефону на кухне. – Если бы это зависело от нее, Лео бы никогда больше не увидел своих детей. Честно сказать, – сказала она тише, – я с ней солидарна. Это не очень приятные дети. Хотя, наверное, чужие дети мало кому нравятся. Лео говорит, что мальчишка терпеть не может воду, так что находиться с ним на пруду в эту адскую жару будет адским кошмаром. Надеюсь, он хотя бы моется.

Она велела нам вести себя как следует.

В середине пруда, где глубже всего, со дна поднимается лес пузырчатки. Рыбам нравится прятаться в ней. Перевернувшись на живот, я заглядываю через край матраса. Отбрасываемая мною тень создает линзу, сквозь которую мне отчетливо видно все, что находится

внизу. Среди стеблей кувшинок и гниющих трав шныряет косяк мальков. Из зеленой мути медленно выплывает на поверхность расписная черепаха. Далеко внизу, лениво колыхаясь, сторожит свое гнездо бдительная маленькая рыбка. Наклонившись, я опускаю лицо в воду и открываю глаза. Мир становится расплывчатым. Я лежу так, слушая воздух, столько, сколько могут вытерпеть мои легкие. Если бы я могла дышать под водой, я бы осталась здесь навсегда. С берега доносится хлопанье автомобильной двери, раскатистый смех Лео. Они здесь.

12:35

Джонас сидит, откинувшись на локти; его черные волосы блестят, как маслянистые утиные перья. С плеч свисает тонкая белая хлопковая рубашка. Обручальное кольцо блестит в лучах солнца. Он не поворачивается, когда мы приближаемся. Может быть, он не хочет меня видеть после того, что мы сделали. Или может быть, теперь, когда он наконец заполучил меня после стольких лет ожидания, я для него всего лишь очередная женщина, с которой он переспал и должен разобраться. А может, он, как и я, хочет оттянуть момент признания, еще ненадолго удержать свою прежнюю жизнь перед тем, как все изменится. Потому что это случится в любом случае.

Питер садится рядом с ним, показывает на что-то на горизонте. Джонас придвигается, чтобы ответить. От песка исходят волны жара, от которых кружится голова.

– Эй! – кричит Джина, прищурившись, и идет ко мне по песку. Я смотрю на пирсинг у нее в пупке, то показывающийся, то снова исчезающий под верхом от танкини. Финн с Мэдди расстелили рядом полотенце и брызгают друг на друга кремом от солнца.

Джонас не оборачивается, но мне кажется, что я замечаю, как слегка напряглись его руки. С возрастающим ужасом оглядываюсь на детей.

– Seriously, Элла! – говорит Джина, с воинственным видом приближаясь ко мне.

– Мам, – зовет Финн. – Мне надо, чтобы ты затянула мне очки.

Я открываю рот, чтобы что-то сказать, но не могу найти слов. «Какие бы у тебя ни были претензии, – думаю я, – пожалуйста, озвучь их тихо».

– Мы прождали вас больше часа. Сэндвичи все размокли.

Усилием воли я заставляю голос звучать ровно, спокойно, уверенная, что выражение моего лица выдает меня с головой. Руки под ворохом полотенца дрожат.

– Прости, пожалуйста. Надо было позвонить. Мы поругались с Джеком из-за ерунды, и все вышло из-под контроля. Дай мне только положить полотенца. Я сбегаю на рынок и куплю свежих сэндвичей.

Джина смотрит на меня так, будто я с дуба рухнула.

– Элла, ты чего? Я же шучу! Поверить не могу, что ты серьезно подумала, будто я могу разозлиться из-за сэндвичей!

Она смеется, но на ее лице на долю секунды появляется странное выражение, и я гадаю, не почувствовала ли она, как все мои внутренности разжались от облегчения.

– Конечно нет. – Я выдавливаю из себя смех. – Я просто сама не своя. Либо из-за таблеток, либо у меня скоро начнется менопауза.

Джина, приобняв меня, тянет к остальным.

– Я просто рада, что вы наконец добрались. Джонас отказывается лезть в воду. И это в такой прекрасный день!

– Слишком жарко.

– Мне никогда не понять вас, местных. Ведете идеальную жизнь в самом красивом месте на планете, и все, что вы можете сказать, это «слишком жарко». Джонас все утро ведет себя так, будто ему ничего не хочется. Время купаться! – окликает она Финна и Мэдди. – Кто последний, тот проиграл! Пора встать на доски. – Она слегка трясет задницей. Мэдди оглядывается на

меня с выражением неприкрытого ужаса, но вместе с Финном бежит за ней к воде, соревнуясь, кто первый окунется.

– Эй, мадама! – зовет меня Питер. – Не кинешь мне воды? Умираю от жажды.

Я прицеливаюсь и запускаю в него термосом. Тот проносится в воздухе и опускается точно на доньшко у его ног.

– Здорово, – говорит Питер.

Джонас поворачивается. Смотрит прямо на меня. Поднимается, отряхивает руки от песка, приближается ко мне с распростертыми объятиями, берет у меня полотенца и наклоняется поцеловать в щеку.

– Я скучал по тебе, – шепчет он мне на ухо.

– Привет, – тихо говорю я. Не могу этого вынести. Это слишком для меня. – Я тоже скучала.

Он проводит кончиком пальца вниз по моей руке, и я покрываюсь мурашками.

– Кто в воду? – кричит нам Питер. – Я сейчас сварюсь!

1977 год. Февраль, Нью-Йорк

Пятый класс. Идет снег. Мы с Анной приехали на неделю к ее крестному Диксону. Папа с Джоанной живут в Лондоне – его перевели туда по работе, – а мама поехала с Лео на его выступление в Детройте. Они собираются пожениться в мае. Диксон – «клевый» друг мамы. Все любят Диксона. Он собирает длинные русые волосы в хвост и ездит на пикапе. Знаком с Карли Саймон. Мама говорит, что ему не нужно работать. Они лучшие друзья еще с тех пор, когда им было два года, – сомневаюсь, что в противном случае он вообще заговорил бы с ней. Они ходили в один детский сад и вместе проводили лето в Бэквуде, где купались голышом и выковыривали из мокрого песка моллюсков во время отливов. «Хотя я их всегда терпеть не могла, – вспоминает мама. – Но Диксон умеет убеждать».

Как-то давным-давно Анна спросила маму, почему та не вышла за Диксона. «Потому что он бабник», – ответила мама. А мне представился человек, который помогает бабушкам.

Диксоны живут в большом старом доме на 94-й Восточной улице у самого парка. Дочь Диксона Бекки – моя лучшая подруга. Старшая сестра Бекки Джулия одного возраста с Анной, но они как-то не сошлись. Джулия – гимнастка. Их мать ушла от них в какую-то коммуны два года назад. Мы с Бекки большую часть времени проводим сами по себе, играем в веревочку, ходим в Центральный парк кататься на роликах, придумываем отвратительные блюда и заставляем друг друга их есть. Сегодня утром мы приготовили в блендере шейки из пивных дрожжей и клубничного пудинга быстрого приготовления. Диксон сказал, что ему плевать – главное, чтобы мы ели. Последний раз, когда мама оставляла нас у Диксона, он повел нас в кино на «Избавление». Потом мы все выходные бегали вокруг с криками: «Давай визжи, как свинья!» Маму чуть удар не хватил, но Диксон сказал ей не быть такой зашоренной пуританкой. Он единственный, кто может позволить себе так с ней разговаривать.

На город опустилась странная тишина. За окном ничего не видно, кроме слепящего белого вихря. Я прислушиваюсь к дребезжанию горячего пара в трубах, которые растягиваются и сокращаются. В квартире душно, рядом с моими ногами пылает металлический обогреватель, и я, подавшись вперед, всем телом налегаю на тяжелое окно, чтобы его приоткрыть, но створка стоит намертво.

– Кто-нибудь, помогите, пожалуйста. Мне нужен воздух.

Но никто не двигается. Мы играем в «Монополию», и Анна только что угодила на дорожную улицу. Ей нужно подумать.

Диксон и его новая жена Андреа все утро провели в спальне за закрытой дверью. «У них там кровать с водяным матрасом», – говорит Бекки, как будто это все объясняет. Андреа и

Диксон познакомились на индейской церемонии в Нью-Мексико. Андреа на шестом месяце беременности. Они уверены, что ребенок от него.

– Она ничего, – отвечает Бекки моей маме, когда та спросила, что она думает по поводу новой мачехи.

– Мне кажется, она милая, – говорю я.

– Милая? – Мама выглядит так, будто только что подавилась оливковой косточкой.

– Почему это плохо? – спрашиваю я.

– Милое – враг интересного.

– Она разговаривает с нами, как со взрослыми, и это здорово, – рассказывает Бекки.

– Но вы не взрослые. Вам одиннадцать, – отвечает ей мама.

– Недавно за ужином она спросила меня, предвкушаю ли я, когда у меня начнутся месячные, – говорит Бекки.

И тут я впервые увидела, как мама лишается дара речи.

– Элла, – зовет меня Анна, – твой ход.

Я сажусь на пол гостиной и бросаю кубик. Деревянные полы всегда вкусно пахнут. Тем же воском, который использует мама.

Я смотрю в конец длинного коридора, ведущего к спальне, и пытаюсь решить, стоит ли мне использовать карточку выхода из тюрьмы, когда дверь открывается. В коридор выходит Диксон, совсем голый. Рассеянно почесывает яйца. Вслед за ним выходит Андреа. Она потягивается, изогнувшись, как кошка.

– Мы сейчас так хорошо потрахались, – сообщает всем она. В квартире тускло, но нам хорошо все видно: ее густые рыжие заросли, курчавые волосы, как у Дженис Джоплин, и сытую улыбку.

Диксон проходит мимо нас через гостиную, садится на корточки у проигрывателя и ставит иголку на пластинку. Мне видны темные волосы в трещине у него между ягодицами.

– Послушайте, какой бэк-вокал, – говорит он. – Клэптон – гений!

Я не отвожу глаз от миниатюрной серебристой тачки у меня в руке, мечтая провалиться сквозь землю.

Бекки толкает меня, чуточку сильнее, чем нужно.

– Ты ходишь или нет?

8

12:45

– Так вы идете в воду? – спрашивает Питер.

– Через пять минут. Мне надо прийти в себя после перехода через эту чертову Сахару. – Я выхватываю у него термос и пью из горла.

– Очаровательно, – говорит Питер. – Мои жену вырастили волки.

Джонас смеется.

– Я знаю. Я был одним из этих волков.

Питер протягивает мне крем от солнца с защитой SPF 50.

– Можешь намазать мне спину?

Я сажусь на колени позади него и выдавливаю крем в руку. Каким-то образом тюбик уже весь в песке, и я с раздражением чувствую, как песчинки прилипают к рукам, когда втираю крем в плечи Питера. Джонас смотрит, как я глажу его кожу.

– Готово. – Я похлопываю Питера по спине. – Теперь ты официально защищен.

Вытерев руки о полотенце, я заползаю под сень палатки.

– Так-то лучше, – говорю я.

Питер поднимается и берет доску.

– Не задерживайся. Не хочу посинеть, пока тебя жду.

Едва Питер уходит, как я жалею, что не пошла с ним, потому что теперь мы с Джонасом остались наедине, и я никогда в жизни еще не чувствовала себя так неловко. Мы тысячу раз бывали вместе на этом пляже с тех пор, как были подростками: гуляли вдоль линии прибоя в поисках ракушек и морских ежей, подсматривали, выглядывая из-за дюн, за жутковатыми голыми немцами, гадали, каково это – утонуть в море. Но здесь и сейчас, когда я сижу, свернувшись, под сенью палатки, мне кажется, что он незнакомец.

На боковой стороне палатки маленькое сетчатое окно. Я смотрю из него на Джонаса, который сидит совсем рядом, но в то же время отдельно от меня. Он сосредоточенно рисует что-то на песке острым краем ракушки. Мне отсюда не видно, что.

– Где юный Джек? – спрашивает он, не поднимая головы.

– Протестует.

– Против чего?

– Я не разрешила ему взять машину.

– Почему?

– Потому что он вел себя, как козел, – поясняю я, и Джонас смеется. Джина машет нам среди волн, зовя к себе. Джонас машет в ответ. Придвигается к сетчатому окошку.

– Можно войти?

– Нет.

– Тогда не выслушаешь ли мою исповедь?

– Сомневаюсь, что, если ты трижды произнесешь «Аве Мария», тебе это сильно поможет, – говорю я.

Он прижимается ладонью к сетке.

– Элла?..

– Не надо, – останавливаю я. Но кладу руку напротив его. Мы сидим так, молча, не шевелясь, соприкасаясь ладонями через тонкую сетку.

– Я влюблен в тебя с тех пор, как мне было восемь.

– Вранье, – говорю я.

1977 год. Август, Бэквуд

В кронах деревьев надо мной есть просвет. Я лежу на мшистом берегу ручья, глядя на почти квадратный кусочек неба. Сначала оно голубое и чистое, а уже через минуту по нему проплывает облачко, похожее на роспись на церковном потолке. В квадрат залетает чайка. Я слышу ее скорбные, ищущие крики еще долго после того, как она исчезает из виду. Сунув руку в карман, я достаю ириску. Я прихожу сюда почти каждый день. Иногда мама спрашивает, где я была, на что я отвечаю: «Гуляла» – и она кажется удовлетворенной ответом. Я могла бы отправиться автостопом в город и оказаться в одной машине с серийным убийцей, а она бы ничего не заметила. Все ее внимание поглощено Лео и Анной. Они ругаются по любому поводу. Это продолжается с тех пор, как мама с Лео поженились. Я теперь боюсь садиться за стол за ужином. Начинается все нормально: Лео читает нам лекцию по поводу Китая или того, почему документы Пентагона все еще важны. Но уже очень скоро начинает наезжать на Анну. Ему не нравится ее подруга Линдси: она одевается, как проститутка, не по годам развита физически и отстает в развитии умственно, думает, что красный кхмер – это цвет губной помады, ее родители голосовали за Джеральда Форда. Почему Анна получила тройку по математике? Почему она сидит сиднем и не помогает, пока мать накрывает на стол? Ее юбка слишком короткая. «А ты чего пялишься, извращенец?» – говорит Анна, а когда Лео встает со стула, убегает к себе в комнату и запирает дверь.

– Это все гормоны, – говорит мама Лео, пытаюсь примирить их. – Все подростки – суицидальный кошмар. А девочки тем более. Подожди, когда Розмари достигнет пубертатного возраста.

Лео обещал стараться держать себя в руках. Но с тех пор, как мы приехали в Бэквуд, их отношения стали еще хуже. Лео решил «проявить твердость». Теперь он отправляет Анну в домик каждый раз, как она начинает пререкаться, а мама отказывается вмешиваться. «Прости, но я не могу постоянно быть судьей в ваших спорах», – говорит она Анне. Анна лежит на кровати, сдерживая слезы, и орет на меня, если я пытаюсь войти.

Как-то утром в июле Лео и Анна так разошлись, что мама швырнула яйцо о кухонную стену.

– Все, больше ни минуты не могу это терпеть. Я иду в гости к отцу и Памеле. – Она протянула мне банан. – Рекомендую тебе отправиться куда-нибудь погулять на целый день, если не хочешь оглохнуть.

Я иду к океану, фантазируя о том, как отравлю Лео – стану той, кто спасет Анну, раз уж мама не хочет, – когда спотыкаюсь о корень и случайно выдираю ремешок из шлепанца. Сев на дороге, я пытаюсь заправить его обратно в дырку. Под низкими ветвями деревьев виднеется едва заметная тропа – возможно, оленья. Я заползаю в кусты и иду по тропе, пока она не исчезает в густых зарослях. Я уже поворачиваюсь обратно, когда вдруг слышу шум бегущей воды. Что не поддается объяснению, потому что всем известно: в этих краях нет ни рек, ни ручьев. Поэтому отцы-пилигримы и отправились дальше, туда, где сейчас Плимут, после того как высадились на нашем мысе. Я осторожно раздвигаю ветку за веткой полотенцем, пролезаю через заросли, стараясь не слишком расцарапать ноги, и оказываюсь на небольшой прогалине. Посередине бьет родник; его пресная вода, бурля, бежит дальше узким ручьем. Деревья-великаны расступились, оставив внизу ковер бархатного мха. Я ложусь на берег ручья и закрываю глаза. «Возможно, яд – слишком явное орудие убийства», – думаю я. Может быть, нам с Анной нужно убежать из дома, поселиться здесь. Мы могли бы построить дом на дереве с платформой и крышей из веток. Свежая вода у нас есть, и мы могли бы ловить рыбу на пляже – рано утром, пока никто не проснулся, – и собирать дикую голубику с клюквой, чтобы не заболеть цингой. Я стала составлять в голове список всего необходимого: пустые банки из-под кофе, чтобы хранить воду, свечи, спички, леска и рыболовные крючки, мыло, две вилки, запасные

трусы, спальные мешки, средство от насекомых. Мама еще пожалеет, что никогда не становилась на сторону Анны и позволяла Лео ее наказывать. Может быть, не сразу, но в конце концов она станет по нам скучать.

Но День труда уже на носу, а единственное из списка, что мне удалось собрать, это две ржавые кофейные банки, старые плоскогубцы и несколько свечных огарков. Высоко надо мной стояя птиц, точно мимолетная мысль, пересекает квадратик голубого неба, рисуя в нем знак победы. На мое лицо падает тень. Я застываю. Пытаюсь стать невидимкой.

– Привет.

На меня сверху вниз смотрит маленький мальчик, лет шести-семи, который подошел так тихо, что я ничего не услышала. У него густые черные волосы до плеч. Светло-зеленые глаза. Он босиком.

– Меня зовут Джонас, – говорит он. – Я заблудился.

Он не выглядит ни растерянным, ни напуганным.

– Элла, – представляюсь я. Я видела его семью на пляже. У его матери курчавые волосы, и она кричит на нас, когда мы оставляем на песке яблочные огрызки. Они живут где-то в Бэквуде.

– Я следил за скопой, – рассказывает он, как будто это все объясняет. Потом садится на мшистый берег рядом со мной и поднимает глаза к нему. Долгое время мы оба молчим. Я слушаю шелест деревьев, плеск воды на камнях. Я помню, что Джонас здесь, но ему каким-то образом удается стать тенью.

– Это окно, – наконец говорит он.

– Знаю. – Я поднимаюсь и отряхиваю землю с джинсовых шортов. – Надо идти домой.

– Да, – отвечает он с серьезным лицом. – Мама будет вне себя от беспокойства.

Мне становится смешно, но я молча беру его за руку, веду назад по тропе и возвращаю матери, которая благодарит меня с таким видом, будто отчитывает.

12:50

– Это правда.

Финн, Мэдди и Джина добрались до конца отмели, туда, где резко становится глубоко. Питер с плеском идет за ними по неровному дну, таща доску. Мне хочется плакать.

– Нет, неправда. Помнишь тот пикник на пляже, когда я познакомилась с Джиной? Ты очень доходчиво рассказал мне, что теперь влюблен в Джину и, «слава богу», наконец-то забыл обо мне. Это было лет двадцать назад.

– Я сказал это, только чтобы тебя ранить.

– Я в точности помню, где мы стояли. Как ни иронично, но это было на этом же самом пляже. Я даже помню, во что была одета. Во что был одет ты. Мне казалось, будто мое тело внезапно стало пустым – как когда ухаешь вниз на американской горке.

– Ты была в джинсах, – тихо говорит Джонас. – Края внизу намокли.

Мэдди ловит волну и едет на ней до самого берега. Врезавшись в песок, она встает, слегка пританцовывает в триумфе и бежит обратно в море.

– Блин, блин, блин. Что мы наделали? – Я задыхаюсь от ужаса. Перед прошлым. Перед настоящим. Перед всей этой историей.

– То, что должны были сделать уже давно.

– Нет, – говорю я.

– Вчера была лучшая ночь в моей жизни. Первая ночь.

Я качаю головой, все мое тело содрогается, будто от рыданий.

– Уже много лет как слишком поздно.

Он убирает руку. Я чувствую себя так, будто мне дали пощечину: теперь мне отчаянно хочется его вернуть. Затем что-то касается моей ноги. Рука Джонаса прорыла в песке туннель и оказалась в палатке. Он проводит рукой вверх по моей ноге, находит внутреннюю сторону бедра.

– Мне нравится эта часть тебя, – шепчет он.

– Хватит. – Я отбрасываю его руку.

– Мягкая кожа, как у ребенка. – Его пальцы тянут за мой купальник.

– Джонас, я серьезно. Они же рядом. Я вижу детей.

– Они в сотне метров от нас. Ляг. Закрой глаза. Я посторожу.

– Нет, – сопротивляюсь я. Но, накрыв бедра полотенцем, ложусь на песок. Сквозь нейлоновую стенку палатки у меня за головой доносятся шаги. Я слушаю, как шуршит по песку липучка на распашной двери. Как ритмично стучит резиновый мячик под ударами деревянных бит. Откуда-то долетает запах кокосового масла.

Джонас отодвигает низ моего купальника, обводит меня по краю, просовывает внутрь самый кончик пальца.

– Здесь же Джина, – шиплю я. – И Питер.

– Тс-с-с... – отвечает он. – Они далеко. За прибором. Я смотрю прямо на твоего мужа.

Он засовывает в меня палец, потом вытаскивает его так медленно, что я едва могу дышать, открывает меня. Я испускаю стон, молясь, чтобы ветер заглушил звук. Тогда он трахает меня пальцами, быстро и жестко. Я двигаю бедрами, насаживаясь на его пальцы, желая, чтобы внутри оказалась вся рука. Я на людном пляже. Мои дети играют в волнах. И мысль о том, что Джина и Питер на расстоянии брошенного камня, заводит меня сильнее, чем когда-либо в жизни.

– Джина выходит на берег, – шепчет Джонас. Зажимает мой клитор. Я кончаю, содрогаясь всем телом, проглатывая крик, пока Джина идет к нам.

– Еще не поздно, – говорит он. Потом вытирает руку о песок, встает и идет навстречу жене.

9

1978 год. Сентябрь, Нью-Йорк

Унылая пора между окончанием лета и началом учебного года. Сегодняшний день вполне подошел бы, чтобы купить новую обувь – а потом получить бесплатный соленый крендель и комикс. Ни грома, ни молний, ни льющейся с неба серы. Но сегодня Анну отправляют в школу-интернат в Нью-Гэмпшире. Ее автобус отходит в полдень с остановки на пересечении 79-й улицы и Лексингтон-авеню. Спустя неделю после того, как мы вернулись в город, Лео шел домой с концерта и увидел Анну с ее подругой Линдси, клянчивших мелочь на углу. Они рассказывали какому-то мужчине в костюме, что их ограбили и им нужны деньги на автобус до дома. Мужчина выудил из кармана десятку и сказал девочкам поймать такси. Лео дождался, когда он уйдет, а потом вышел из тени.

– Анна, – позвал он благодушно, – что ты здесь делаешь? Уже поздно. Разве ты не должна быть дома?

– Я провожаю Линдси на автобус, – сказала Анна.

– Я так не думаю.

– Это потому, что ты вообще не думаешь, – огрызнулась Анна.

– Я видел, что вы делаете.

– Правда? Что?

– Обманываете. Воруете. Ведете себя, как дешевые проститутки с 14-й улицы.

– Ты извращенец, – сказала Анна.

Лео протянул руку.

– Дай сюда деньги. Сейчас же. Мы с мамой обсудим, что с тобой делать.

– Он думает, что может мне указывать, – насмешливо бросила Анна Линдси. – Но он мне не отец. Слава богу. Пошли отсюда.

– Твоего отца нет, – сказал Лео.

– Он есть. Просто живет в Лондоне.

– Если бы он хотел с тобой увидеться, он бы это сделал.

– Иди в жопу, – взбесилась Анна. – Хотя погоди, тебе же именно этого и хочется, так ведь?

Лео утверждает, что не помнит, как поднял руку и ударил ее по лицу, но Линдси сказала мне, что у него был такой вид, будто он хочет сделать ей больно. Теперь Лео жалуется, что при виде нее каждый раз чувствует себя чудовищем. Один из них должен был уйти. И это оказалась Анна. Я не против ее отъезда. На прошлой неделе она застучала меня, когда я примеряла ее лифчик, и порвала мое сочинение, которое задали на лето. Но мне жаль ее. Ведь я знаю, что она напугана и уже тоскует по дому, хотя еще не уехала. И еще ей хочется, чтобы наша мама выбрала ее.

Я сажусь к ней на кровать и смотрю, как она укладывает последнее, что нужно взять, в чемодан. Снимаю с дверной ручки ее игрушку-антистресс в виде шариков на веревочке.

– Не трожь мои вещи. – Она выхватывает у меня шарики и бросает их в шкаф. – И только попробуй надеть мою одежду!

– Можно я возьму это? – Я достаю из мусорной корзины старый журнал. Донни Осмонд смотрит на меня немигающим взглядом.

– Ладно. – Анна садится на чемодан и застегивает молнию, потом беспокойно оглядывается, как будто что-то забыла. На ее комод стоит флакончик туалетной воды. Анна идет к нему. – Держи, – протягивает она его мне. – Раз уж меня не будет здесь на твой день рождения.

Она сняла свои постеры, на стенах повсюду остались кнопки и грязные темные квадраты, похожие на слепые окна. На одной кнопке все еще висит обрывок глянцевого бумажки. Вот и все, что осталось от Анны, – кусочек альбома Джеймса Тейлора, как деталь от пазла, остальное смято и брошено в мусорку.

– Почему мне нельзя жить в твоей комнате? – говорю я. – Почему ее отдали ему?

Анна заливается слезами.

– Я тебя ненавижу, – всхлипывает она.

Хуже всего, что Анну заменили. Мать Конрада решила, что не может справиться с тринадцатилетним мальчишкой. Она оставит себе чудачку Розмари с ее жутковатой одержимостью григорианскими хоралами и первородным грехом, а Конрад достанется нам. Противный тарашающийся Конрад с его коротким плотным телом, как у борца. Анна утверждает, это из-за того, что его мать застучала его, когда он дрыгал в туалете. Мы поедем в аэропорт встречать его, после того как посадим Анну на школьный автобус. Анне страшно ехать одной, и мама это знает, но Лео настоял, чтобы мама встретила вместе с ним его сына, поэтому она не может отвезти Анну в Нью-Гэмпшир. «Я не могу быть в двух местах одновременно», – сказала она Анне.

– Лучше бы ты поехала жить к папе, – говорю я сейчас.

Анна подходит к столу, открывает нижний ящик и вынимает оттуда письмо в голубом конверте авиапочты.

– Я написала ему летом. Рассказала, как все плохо между мной и Лео. Спросила, можно ли мне переехать к нему в Лондон.

Она протягивает мне конверт.

Папино письмо коротко. Он пишет, что ему очень хотелось бы, чтобы Анна жила с ним, но они сейчас не могут позволить себе квартиру побольше. У них не так много денег, а Джоанне нужно уединение, чтобы писать. Если бы это было его решение, то, конечно, она могла бы к нему переехать. Он уверен, что все наладится. Лео – хороший человек. А внизу подпись: «С любовью, папа».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.